

С (ТУР)
У - 49

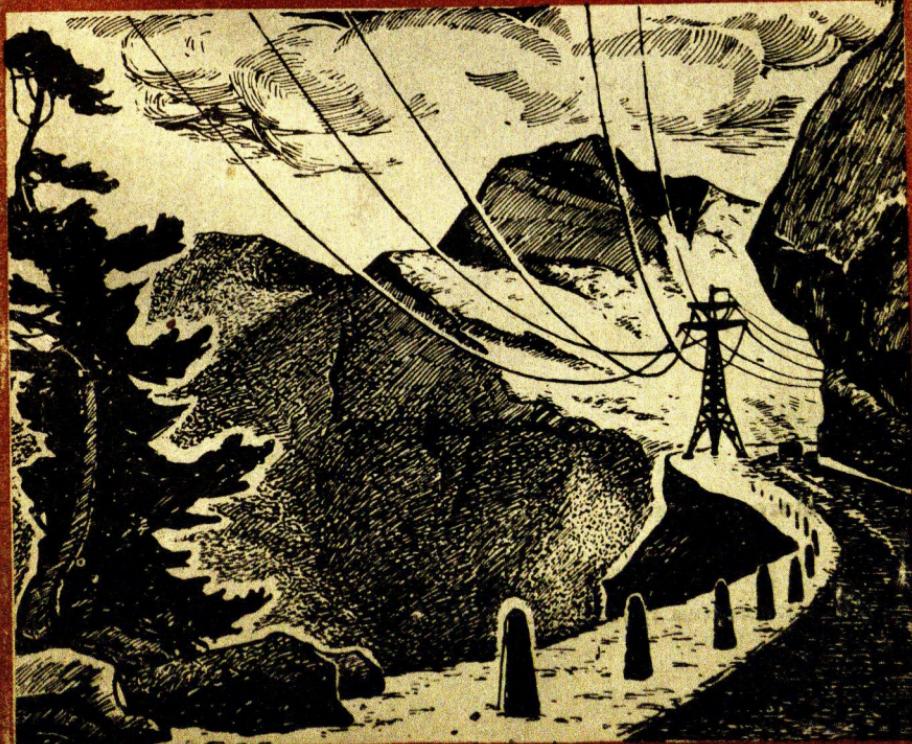
ISSN · 0130 · 531X



ЧЛУГ Хем

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
АЛЬМАНАХ

18'80



СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ ТУВИНСКОЙ АССР

18'80

Үлүг •
Жем



*Литературно-
художественный
альманах*

ТУВИНСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
КЫЗЫЛ — 1980

РС
У47

Редакционная коллегия

А. К. КАЛЗАН, С. В. КОЗЛОВА (редактор), Д. С. КУУЛАР,
Ю. Ш. КЮНЗЕГЕШ (ответственный редактор), Г. И. ПРИНЦЕ-
ВА, О. О. СУВАКПИТ, С. С. СЮРЮН-ООЛ, М. А. ХАДАХАНЭ,
Л. Б. ЧАДАМБА

Во всем его дыхание живое...

Леонид ЧАДАМБА

ВМЕСТЕ С АРАТОМ — ЛЕНИН

В стране голубых рек
сменяются поколения —
в сердца араторов навек
впечатано имя Ленина!

И пусть колосятся поля,
тучнеют стада белопенные,
и пусть молодеет земля,
где вместе с аратом — Ленин!

Он с нами сегодня везде:
на фабриках, шахтах, заводах.
В стихах, в напряженном труде
он с нами на многие годы.

Он в смехе задорном детей —
грядущей, взрослеющей смене.
Он самый живой из людей —
великий и мудрый Ленин!

И имя его сквозь года
проносят в сердцах поколенья.
И партия с нами всегда.
А партия — значит Ленин!

Олег СУВАКПИТ

ИМЯ ЛЕНИНА

Наша планета населена
множеством разноязыких народов:
вера, обычаи, имена,
знанья, права их — неоднородны.

Держит в руках богатства и власть
в странах одних меньшинство — «элита».
Людям труда житье там — не всласть:
кровью и потом поля политы.
Сильные слабых готовы съесть...
Не мироздание — волчья стая!

Но государства другие есть:
завтрашний день для них рассветает.

Где бы ты ни был, в какой стране,
с теми народами или с другими,—
всюду тебе, маяком во тьме,
светит одно дорогое имя.

Без перевода понятно всем,
неутомимо сея повсюду
правды зерно — дорогой посев,
светит оно трудовому люду.

Вот африканец. Он жил, как раб,
белыми брошенный на колени.
Ныне он знает, что он не слаб:
волю к борьбе вселил в него Ленин.

Вот португальский крестьянин. Опять
землю, которую взял он с бою,
хочет богач у него отнять —
он заслоняет землю собою.

Пахарь-афганец капли зерна
бережно в глубь борозды роняет.
Труд его от басмачей охраняет
Ленинская страна!

Мрачен подземный медный рудник,
солнца лучи туда не просочились...
Ленина свет и в него проник:
верят в победу рабочие Чили.
— Ленина правду избрали мы,
нам никогда от нее не отречься!—
из-за решеток фашистской тюрьмы
слышится клич — на разных наречьях.
Кличем победным вторят ему
те, кто достиг уже избавленья:
— Нас не вернуть в жестокую тьму,
к солнцу дорогу открыл нам Ленин!

Пламень, зажженный им, не потух —
ветры планеты его развеивают...
Слышишь: на горной вершине пастух
песню о Ленине запевает.

Юрий КЮНЗЕГЕШ

КРЕПКИЕ КОРНИ

Я рожден землею Тувы.
Не хочу назвать ее раем,
но из недр ее, из травы,
из таежной прелой листвы,
словно лиственница, прорастаю.

Я рожден тувинской землей,
вешним солнцем, надеждой светлой,—
расцвела она ярким цветом
под звездою Страны Советов,
под Кремлевской алой звездой.

Всех народов права равны
и для всех свободы едины
под звездой Советской страны,
нерушимой, непобедимой.

Наша воля устремлена
к судьбам мира, к защите мира:
сабля вражья занесена —
мы — стена, стальная стена
мигом саблю переломила!

Нашу жизнь врагам не убить,
монолит не перерубить
всем замахом вражьей руки —
наши корни в земле крепки
и идут до самых глубин.

Я рожден землею Тувы,
обогрет я надеждой светлой.
Мать-земля! Расцветай, живи
всем цветеньем нашей любви
под звездою Страны Советов.

Зоя НАМЗЫРАЙ

КАК КРАСНОЕ ЗНАМЯ...

Я помню, как в детстве впервые
услышала Ленина имя.
Торжественно и величаво
оно по Туве разнеслось.
Я помню: ему внимали
старые и молодые,
и вера в правду крепчала.
Так будущее родилось.

И, гладя ладонью газету,
восторженно дед повторял:
«Россия», «Октябрь», «победа», —
и слушал притихший аал.

Росла я в победное время.
Тува, я пою о тебе —
и в песне, и в жизни я с теми,
чья поступь на марше побед.

Все так же высоки Саяны,
речушек струи холодны,
но там, где темнели курганы,
огни городские видны.
А дети вчерашних аратов —
ученые, учителя.
Их знанья и воля крылаты.
Трудом их тучнеют поля.

Мой дед кочевал по Саянам
вс мраке столетий —
и вот
великое имя — Ульянов —
ему осветило исход.

К великому сыну России
завещана дедом любовь,
и имя простое красивей
надуманных выспренних слов.

Ведь Ленин — как символ победы,
как властный истории глас,
как красное знамя планеты
в руках атакующих масс!

Михаил ПАХОМОВ

ЧЕДЕРСКОЕ БОГАТСТВО

Февраль

← Автор очерка в конце сороковых годов я работал первым секретарем Кызылского сельского райкома КПСС и, естественно, принимал участие в колхозификации аратских хозяйств, в том числе и тех, которые кочевали в чедерских степях, упирающихся в подножия Балгазынского соснового бора. Спустя более десяти лет опять доводилось бывать и работать там, уже в целином совхозе «Победа». Тогда и был написан этот ~~повествовательный очерк~~.

После сессии районного Совета, обсудившей ход подготовки к весеннему севу, я сидел в своем кабинете и ломал голову над нерешенными еще вопросами.

Прошло лишь три с небольшим года с тех пор, как Тува вошла в состав Советского Союза. Столько же минуло времени и с того дня, когда был образован Кызылский сельский район, в состав которого вошли крохотные поселки оседлых крестьян и сумоны кочевников-аратов. Раньше они входили в четыре ~~окрестности~~ Кызыла района ~~Совхоз~~

Только что выстроенное деревянное здание райкома находилось в центре города, но не имело еще даже электрического освещения. Время было позднее, поэтому на столе мерцали две керосиновые лампы. Рядом возвышалась стопка книг. Я еще и еще раз вчитывался в мудрые советы В. И. Ленина по вопросам коллективизации крестьян и думал, как наиболее успешно претворить их в жизнь аратов-кочевников.

Вдруг в коридоре заскрипели половицы: кто-то подошел к двери. Потом послышался легкий стук, дверь открылась, и на пороге появился председатель сумонного Совета Сюльдум-оол. Одет он был в синий стеганый халат, подпоясанный широким солдатским ремнем с медной пряжкой, на ногах — бродни; треух, сшитый из ~~шкуры пятнистой~~ рыси, держал в руке.

— Разрешите, дарга,— обратился он, перешагнув порог и по-солдатски приняв стойку «смирно»: сухощавый, лобастый, с открытыми зеленоватыми глазами.

— Давай, давай, Василий, проходи, садись,— пригласил я.— Что у тебя? Рассказывай!

— Извините, дарга. Уже поздно, а беспокою!— присаживаясь, проговорил председатель.— После сессии хотел было сразу же ехать домой, но решил прежде зайти к вам.

— И правильно сделал. Раз сегодня, значит, еще не так поздно. Завтра мог бы и опоздать. Правда?

— Точно, дарга!— Сюльдум-оол как-то особенно пристально поглядел на меня, будто изучая, правильно ли пойму его появление в столь неурочное время.

— Ну, что ж, я вас слушаю, товарищ Сюльдум-оол.

Следуя привычке, оставшейся после нескольких лет службы в народно-революционной армии своей республики, он поднялся было со стула и хотел рапортовать по всем правилам военного устава.

— Сиди, сиди,— предупредил я.— Давай для начала лучше закурим, чтобы беседа шла полегче,— и протянул ему пачку папирос.

Опустившись на стул, председатель сумонного Совета начал:

— Я, дарга, человек беспартийный, но в душе — большевик,— проговорил он с улыбкой.— Народ поставил меня председателем сумона. Доверяет, значит. И я стараюсь.

Опустив глаза в раздумье, он минутку помолчал, затем продолжил:

— Вот сидел я сегодня на сессии и думал: готовимся к большому делу — посевной, а идем к ней вразброда, как овечки на пастбище.

— Что ты имеешь в виду, Василий Саинович?— прервал я его.

— А вот что, дарга: в Советском Союзе уже давно все сообща пашут и сеют; да вон и в нашем Эрбеке крестьяне уж больше десяти лет как колхозники; пять лет как в Чербаях в колхоз объединились и араты; кое-где и в других районах аратские артели еще в тридцатых годах рождались, да как плохо подготовленные были ликвидированы. А вот в Кок-Тайском, да нашем, Чедерском, сумонах араты все еще, как суслики в норах, по-прежнему копаются в своих юртах. Одна нога вроде бы в социализм уже вступила, а другая увязла в личном хозяйстве, будто муха в сметане! У нас в народе с незапамятных времен живет поговорка: «Последнему верблюду поклажи достается больше!» Почему же, спрашивается, араты нашего района должны дремать каждый в своей юрте, чтобы оказаться последними на пути в колхоз??!

Чедерские коммунисты, возможно, вам уже говорили об этом. Но я решил, что и мне надо высказать свое мнение. Араты ждут, когда их позвовут в колхоз. Говорят: кругом араты объединяются, а мы, как пеньки горелые, все еще в одиночку. Конечно, может показаться, что у нас в Чедере для создания колхоза ничего подходящего и нет — пустыня, мол! Но ведь там есть земля и, главное,— люди. А это, насколько я понимаю,— целое богатство.

— Ты очень кстати пришел, дорогой!— прервал я речь Сюльдум-оола.— Я вот тоже над этим ломаю

голову: почему бы, мол, и в Чедере не организовать колхоз? Столько земли пропадает!

— Араты наши — за колхоз, товарищ секретарь. Правда, богатые посмеиваются, когда заговоришь об этом. Среди таких есть даже и коммунисты, как Даваадыр, например... Но это понятно: скота же ведь у них полно, вот и жалеют, видно, что сдавать кое-что придется. А беднота — та ждет-не дождется, чтобы объединиться в артель. Не против колхоза и середняки. Вот и зашел узнать, когда вы к нам приедете с этим делом?

...Далеко за полночь затянулась беседа. О многом передумали и переговорили мы с Василием Сайновичем, а утром райкомовский «газик» мчал нас в чедерскую долину.

С высоты перевала в серой холмистой котловине, еле-еле припорошенной снегом, ледяным блином с рваными краями предстало перед нами целебное озеро Чедер. Вдали на горизонте темнели косматые грибы заповедного Балгазынского соснового бора, где за легкой пеленой морозного тумана пряталось побелевшее солнце. По обеим сторонам вдоль дороги на степных ковылях сверкали искры куржака. В окрестных впадинах гор и у ручья, что струится в озеро, там и тут темнели стоянки аратов. На косогорах, добывая корм, бродили россыпи их скота.

Молотя промерзшими колесами по ухабам колеи, «газик» гнал перед собой стаи резвых желтогрудых снегирей. Они то и дело отлетали вперед метров на сто-двести и вновь осыпали дорогу, чтобы по приближении машины опять вспорхнуть и лететь в морозную даль...

— Где же будет усадьба-то? — спросил я Сюльдум-оола.

— Посмотреть надо, дарга, — уклонился тот.

— А все же, у вас-то какое мнение?

— Да разное говорят. Одни — что в Суг-Бажи. А я думаю — лучше бы на Онгачи. Там когда-то жил уже один русский. На ручье даже плотину для своей мельницы соорудил... А в Суг-Бажи неловко: вода в ручейке еле-еле сочится. К тому же и от леса далеко.

«Вот так базы для колхоза, ничего не скажешь! — думал я.— В Онгачи, кроме воды, ничего нет. Как говорят, ни кола, ни двора, кругом — степь да гололобые холмы, а в Суг-Бажи...»

А вот и это примечательное местечко: Суг-Бажи, что буквально означает «голова воды», а по смыслу — исток. Это глубокий овраг, в котором начал свой путь в озеро ручеек; вниз по оврагу на его высоких берегах темнели беспорядочно разбросанные юрты кочевников, а за оврагом в предгорья величавого Танды раскатилась солончаковая степь, обильно покрытая упругим, как проволока, терезином. И на ней пасся скот. На правом берегу источника с десяток лет стояла под тесовой крышей изба, в которой в пору сенокоса жили рабочие, заготовлявшие сено для армейских лошадей. Напротив ее, за ручьем, среди старинных, растоптанных куч навоза в морозном тумане чернела усадьба Сюльдум-оола: крохотная избушка без крыши с двумя подслеповатыми оконцами да стайка для коров; шагах в тридцати от нее торчал тоненький столбик — коновязь. Вот и все!

Здесь и жил председатель сумонного Совета Василий Саинович со своей Лагбар да семилетним сыном.

Когда мы в козлиных дохах вошли в избушку, едва притиснувшись в низенькую дверь, в ней стало так тесно, что Лагбар Сакшогоевна растерялась: как же разместить нежданых гостей?! Ответив на приветствия, она, пока мы стягивали с себя задубелые дохи да располагались на земляном полу, застланном шкурами животных, взялась растоплять железную печку, дремавшую посреди пола. Разворовив в ней оранжевые угли, хозяйка длинными железными прихватками наложила в них щеп, кусков сухого навоза и принялась за приготовление чая.

Между тем я осматривал жилище и обстановку в нем. В числе мебели, ~~оставленной на~~ двух табуреток и лежанки — оруна, был и деревянный сундучок, в котором хранились, должно быть, все дела Совета. Как выяснилось потом, Сюльдум-оол у себя

дома проводил заседания исполкома, принимал граждан по личным делам.

Небеленые стены были оклеены вырезками из журналов. В центре в полированной рамке висел портрет В. И. Ленина; тут же были подшивки газет «Шын» и «Тувинской правды»; на одном подоконнике стояла семилинейная керосиновая лампа без стекла; у порога громоздилась пузатая деревянная ступа, из горловины которой возвышался головастый пест...

В узенькой жестяной трубе монотонно гудело пламя, и вскоре закипел чай, наполнив жилище пьянящим ароматом.

Лагбар Сакшогоевна пододвинула к нам сундучок и поставила на него тарелку с румяными лепешками, другую — со свежей сметаной, затем стеклянную вазу с сахаром; хозяйка выставила на стол все, чем была богата: в гости пожаловало большое начальство! Она старательно протирала посуду, робко бросала взгляд на незнакомцев и полуслепотом переговаривалась с сыном, который юлой крутился около родителей, особенно возле отца, привезшего из города подарки.

Мальчик был одет по-мужски: в длинной овчинной шубе, окрученной красной опояской, в кожаных идиках; на круглое черноглазое лицо до самых бровей ниспадала челка вороных непослушных волос. Он буквально не отставал от родителей и, казалось, ревновал их к гостям, с которыми они вынуждены были разговаривать. Его интересовало, дорого ли стоят привезенные отцом из города книжки с картинками, скоро ли ему надо будет идти в школу (иначе какой смысл в книжках, если читать не умеешь), спрашивал, где та школа, в которой он будет учиться; когда мать сопьет ему новую шапку из мерлушки, с кожаным верхом, как «вон у дарги, который приехал с отцом»; спрашивал у отца, можно ли прокатиться на машине, что стоит и бормочет на улице?

— Иван! — нарочито грозно вскрикнул Сюльдум-оол, — да замолчишь ли ты, кайгал (в смысле: разбойник)! Прямо беда с ним,— переменив тон, обра-

тился он к нам.— Только сонный и молчит, как проснется,— прямо оратор, не остановишь! Что только будет из парня!

— Иван, говоришь?— спросил я.

— Меня Василием зовут, а его Ванькой назвали. Мать так захотела. И мне имя нравится. Учиться в русскую школу думаем отдать. Скорее обучится: тувинских-то книг еще мало, а по-русски, наверное, обо всем уже напечатано.

После чая продолжалась беседа про колхоз.

Сюльдум-оол сидел на полу, подвернув калачом ноги, и вслух мечтал:

— Организуем колхоз, поселок выстроим, клуб, школу; свой хлеб выращивать будем. Ведь сколько кругом земли — глазом не окинешь, и — ни клочка посева! Душа болит: сколько добра пропадает. И какая земля-то: сожмешь в горсть — сок показывается! В Каа-Хеме, в Балгазыне такие же земли. Там у людей амбары от хлеба ломятся, а мы, как побиушки, с мешками за зерном в другие районы мотаемся. Стыдно даже!

— Лет десять тому назад,— повествовал он,— в Малом Шамбалыге жил один русский крестьянин. Десятин по тридцать сеял.

— Ого: кулак?— спросил мой шофер.

— Не знаю. Четыре взрослых сына у него было; жатку, молотилку имел, в уборку аратов нанимал. Кулак, должно быть. Кто же мог столько сеять? А какой хлеб был — море! Однако бросил он землю. Уехал в Каа-Хем. Земля запустела. Бурьяном все заросло. Но это только лоскуток на здешних полях, как пуговица на большой шубе! Вы посмотрите, сколько здесь плодородной земли, и все целина! Колхоз, колхоз надо создавать, и нынешней же весной пахать и сеять!

— У того, у русского-то, лошади хорошие да машины были,— вдруг промолвила молчавшая до этого Лагбар.— А что будет делать наш колхоз? Лошади — мелкота, и плуга никогда не видывали. У богачей вон, правда, есть добрые кони. Да ведь пойдут ли они в колхоз-то!?

— Да обойдемся и без них! — отпарировал Сюльдум-оол. — Лошади у нас свои есть. Ты просто не знаешь, а говоришь «мелкота». Что ты в лошадях понимаешь? А машины — машины купим. Государство поможет. Тракторы свои заведем, автомобили...

Воспользовавшись наступившей было тишиной, Ванька вдруг затараторил:

— Колхоз, трактор, машина! — и, схватив за ухо свой малахай, выкатился на улицу. Когда за ним захлопнулась дверь, все мы снова услышали полюбившиеся, видимо, малышу слова: «колхоз», «трактор», «машина»! Потом протяжно взывал гудок стоявшего на дворе райкомовского «газика».

— Вот чертенок, разрядит аккумулятор! — забеспокоился шофер.

Но гудок тут же оборвался, и Сюльдум-оол сказал, улыбаясь:

— Ничего. Он больше не будет. Знает, что долго нельзя. Шофером, говорит, буду. Русский язык страсть как любит. Даже во сне частенько что-то по-русски бормочет!

... В Суг-Бажи собрались араты из всех арбанов Чедерского сумона. Организаторы колхоза оказались в затруднении: где же проводить собрание? На улице было еще холодновато: с голубого мартовского неба падала серебристая кухта, во впадинах северных склонов гор все еще таились рваные клочья снега. Была единственная надежда на домик газэскадрона. К нему и стекались люди. К вечеру столько набралось народа, что многие оставались на дворе. Пришлося открыть дверь и выставить окна. Когда началось собрание, слова председательствующего и выступавших ораторов на улицу передавала своеобразная эстафета.

Заявлений о вступлении в колхоз едва насчитывалось десятка три. Это были, прежде всего, заявления коммунистов: Яндары — секретаря партичейки, Лагбы, Кара-Агбана, Севена, Омуне, аратов Ойдан-оола, Бугалдая, Серен-оола и других. Но на собрание собралось более полутораста человек. Кто-то прибыл, чтобы посоветоваться с соседями и уже потом подать заявление, а кое-кто — посмотреть,

прикинуть, получится ли что... Явились и кара-баи, чтобы приглядеться, как и что: не станут ли принуждать...

Прибыл и чедерский богач, стариk Шилин, которого не коснулась в тридцатых годах кампания по ликвидации имущества феодалов, хотя в свое время немало исколесил он торговых дорог в Сибирь и Монголию. Говорили, что на своих верблюдах выезжал он с сеянной мукой даже в далекий Китай!

Расхаживая вокруг дома в толпе чедерцев, старый Шилин, считавшийся на редкость просвещенным и добропорядочным, ехидно улыбаясь, говорил:

— В колхозы-то, слышно, только здоровых да сильных принимают. А нашему-то брату соваться туда нечего. Да, и мы поработали в свое время. Теперь и в сторонку. Поглядим, как и что...

Не все те, кто в числе первых вошел в избу, да так и остался там до конца, решив изведать новый путь в своей жизни, пришли с открытым сердцем. Среди них был плотно сбитый арат Даваадыр, крепкий хозяин. На его припухлом лице в узеньких щелках холодным огоньком поблескивали черные глаза; его суждения были неторопливыми, обстоятельными. Всем было известно, что в колхоз он шел «на тормозах». Однако был партийным: при вступлении из народно-революционной партии в ВКП(б) были учтены его революционные заслуги в прошлом.

Когда утверждали уставные нормы скота в личной собственности колхозников, Даваадыр первым попросил слово и с места предложил:

— Как известно, без лошади арат — не арат! Поэтому уж самое малое надо оставить колхознику для личных нужд — пару лошадей. Из крупного рогатого скота — четыре коровы с приплодом. Чем иначе ему жить с семьей? Овечек и коз можно ограничить и полсотней.

— А сколько и чего собираешься сам-то ты сдавать в колхоз? — спросил кто-то.

В президиуме зашептались. Тогда Даваадыр

важно протиснулся к столу президиума и вновь заговорил:

— Вот мне тут задали вопрос: что я сдам? Я-то сдам! У меня есть ~~что~~ сдать! Колхоз получил от меня верблюда, три лошади, ~~одна~~, двадцать овечек. Разве мало?! А вот что сдадут другие, хотелось бы мне знать?

— Сдадут и другие, что положено,— ответил Сюльдум-оол.— А вот ты-то маловато собираешься сдать, товарищ Даваадыр! У меня, к примеру, две коровы. Одну из них я сдаю. Вот и поразмысли, сколько и чего мог бы сдать и ты.

Громом аплодисментов ответили собравшиеся на слова председателя сумонного Совета.

Слово попросил кряжистый арат с толстым красным носом и вислой губой.

— Говорите, товарищ Чырттак,— сказал председательствующий.

Чырттак пробрался к столу, снял малахай, оголовив лысеющий череп, и начал говорить. Речь повел издалека. Говорил, что до революции не имел никакого скота и только при народной власти стал на ноги:

— У феодалов забрали скот,— повествовал Чырттак,— и нашему брату, бедноте, поделили. Пять бодо получил и я. С тех пор никто не может сказать, что я какой-нибудь лодырь. В Отечественную войну много помогал фронту.

Тут оратор пошарил за пазухой, извлек замызганную тетрадь и начал было перечислять, когда и сколько чего сдал в помощь фронту. Но участники собрания зашумели. Кто-то крикнул:

— Чего историю ворошишь, будто ты один помогал! Говори дело!

— Ты лучше квитанции покажи! — объявил присутствовавший на собрании колхозник из Кок-Тея Бюрюльба.

Чырттак огрызнулся:

— А ты не лезь, кривой мерин! Тебя тут не спрашивают!

— Так что же ты предлагаешь, товарищ Чырттак? — крикнул, чтобы перекрыть поднявшийся шум и смех, секретарь партичайки Яндарас.

— Как что? — переспросил лысый, сердито посмотрев на партийного вожака. — Предложение Да-ваадыра поддерживаю! — отрезал он и, нахлобучив малахай, нырнул в толпу. Вслед ему грохотал смех.

Коммунисты провели свою линию об установлении уставных норм скота в личной собственности. Размеры их были довольно велики, но вдвое меньше, чем были предложены Да-ваадыром.

Собрание затянулось за полночь. Председателем артели был избран председатель сумонного Совета Сюльдум-оол.

Нерешенным остался только один вопрос: где расположить колхозный центр? Большинство не поддержало предложения Сюльдум-оола строить поселок у Онгачи, ближе к лесу, где довольно много воды. Те колхозники, у которых даже по нормам все же оставалось в личной собственности порядочно скота, никак не хотели оставлять окрестностей Суг-Бажи: там обычно меньше выпадает снега и поэтому держать скот на подножном корму круглый год намного легче, чем у Онгачи. Решение вопроса было отложено на неделю.

В очередное воскресенье собрание было продолжено в степи, у самой Онгачи. Сюда съехались араты со всего сумона. Прибыли и те, кто в колхоз еще и не вступал. Вопрос, где будет расположен тот очаг, вокруг которого раскинутся пути-дороги к новой светлой жизни, интересовал не только колхозников. Не вступившие еще в артель араты тоже тяготились уделом «последнего верблюда», как говорится в пословице.

Люди разбрелись по степи. Каждый по-хозяйски всматривался в пойму ручья, широкие окрестности, будто тщательно изучал и взвешивал достоинства и недостатки местности, где придется осесть, покончив с извечным кочевьем!

Поднятие красного флага было сигналом к сбору, и обсуждение началось. В той степи весной сорок восьмого года не только решался вопрос, где быть колхозному поселку, но как бы подводился окончательный итог многовековому кочевью аратов чедер-

ских степей. Высказывались все, кто желал, и все решило открытое голосование.

— Что ж, товарищи,— заключил Сюльдум-оол,— большинство—за Суг-Бажи. Народ — хозяин. Он и решил, где лучше. Усадьба нашего колхоза «Победа» будет в Суг-Бажи!

...Окрестные холмы дымили оттепелью. Над степью гулял перезвон голосистых жаворонков, голубым пламенем полыхали лютики. Жирные черноземы заждались заботливых рук земледельцев, готовые щедро вознаградить их труд на первом пути к счастью. И они пришли на те черноземы. Недалеко от сухого лога Малого Шамбалыга оборудовали первый полевой стан и начали штурм целины.

Полтора десятка плугов, запряженных тройками лихих коней-степняков, прокладывали первые борозды. На верблюдах, впряженных в телеги, колхозники за пять километров подвозили в бригаду воду и за двадцать — семена. Следом за плугами и боронами, запряженные парами лошадей, по полям катились сеялки.

Бригадой полеводов руководил демобилизовавшийся прошедшей осенью из армии молодой коммунист Лагба. Энергичный крепыш с острыми скулами, орлиным носом и мягкими карими глазами слыл любимцем колхозников. Особенно молодежи. И управлял делами бригады, как заправский дирижер оркестром. Своих товарищей называл он, смотря по возрасту, не иначе, как «акым», «угбам» (старшие брат или сестра), или «дунмам» (младший брат, сестра). И колхозники обращались к бригадиру также по-родственному.

— Триста гектаров посеем нынче! — в восхищении говорил Лагба.— Земля-то, видите, какая? Урожай будет! Даже если по тонне соберем — и то триста тонн. Колхозники верят, что будем нынче иметь свой хлеб!

Сюльдум-оол поправил:

— Хвалиться еще рано. Хорошо пока только то, что колхозники верят в успех. А триста гектаров для нашего Чедера — это лишь малая кроха. Лет через пяток мы поднимем здесь тысячи гекта-

ров, а они дадут нам тысячи тонн зерна! Так что началом пока обольщаться не стоит. Это расхолаживает!

Всюду поспевавший за отцом семилетний Ванька и тут не утерпел, кружась на одной ноге, затараторил:

— Колхоз, трактор, машина, хлеб, сахар!

— Вот, вот! — подхватил отец. — Колхоз у нас теперь уж есть, скоро будут и тракторы. Тогда держитесь, чедерские степи! — с улыбкой «пригрозил» Василий Сайнович. — Много дадите вы нам хлеба, много!

С полевого стана в Суг-Бажи, где бригада плотников под руководством старого коммуниста Карап-Агбана заложила венцы первых домиков колхозного поселка, отец и сын Сюльдум-оолы ехали в кабине видавшей виды полуторки. Вел ее молодой колхозник Конгар, работавший до этого шофером в Кызыле. Автомобиль настолько был «заезжен», что в город показаться на нем было просто невозможно.

За ухарскую езду и удручающий вид машины какой-то прокурат, чтобы не говорить длинно: «Конгар на полуторатонке», — назвал просто: «Конгартон». И это название прочно прижилось!

«Конгартон» была и техничка, если требовалось подвезти в полеводческую бригаду кузнеца с походным инструментом, и карета скорой помощи, если кто приболел и его надлежало отвезти в кызылскую больницу, и «летучка» по доставке продуктов, курева и газет лесорубам, чабанам, земледельцам, и пролетка для поездки председателя колхоза в город по служебным делам. Для вывозки леса и других тяжестей она была совершенно не-пригодна, да и колхозники, впрочем, считали конунством наваливать на нее какие-то бревна: полагали ее средством для более срочных и деликатных дел, а еще — своего рода сувениром...

Лес для строительства возили лошадьми и верблюдами на санях и телегах, а то и просто — тащили бревна волоком вершники, и дома росли и множились. Уже через полгода с начала строительства

Кара-Агбан смастерили в своем домике насос, с помощью которого соседи получали кристально-чистую воду. У фасада некоторых жилищ бывших кочевников появились саженцы тополей и сосенок. Колхозники вслух мечтали:

— Еще год-другой — и из Онгачи проведем канаву, огороды разведем, лес в поселке будем выращивать. Озеленим свой колхозный город!

Не прошло и года — они своими силами заготовили и подвезли из бора строевой лес, — и новая школа была дорогим подарком колхозной детворе. В окрестностях поселка вырастали животноводческие помещения. Но строительство шло все же не так, как бы хотелось, — медленно: не было ни автотранспорта для ускоренного подвоза строительного материала, ни пилорамы — все распиловочные работы велись вручную. Без тракторов трудно поддавалась и целина, и посевы расширялись тоже не так быстро, как бы хотелось. Но все эти трудности нисколько не угашали трудовых дерзаний. Скорее — наоборот! Социалистическое соревнование колхозников за скорейшее преобразование чедерских просторов и самой жизни обитавших там людей разгоралось с такой силой, какой никогда не ведали кочевники...

Шли годы. Колхоз мужал. Духовно росли люди. И вот оно, чедерское богатство: целина, распахнувшая свои несметные кладовые, и те, кто стоял у колыбели этого хозяйства, начавшие ее штурм.

В начале шестидесятых годов довелось мне быть там, где кипела борьба, чтобы впервые сдать в за-
крома государства чедерский миллион пудов зерна! И невольно пришлось мысленно оглянуться на де-
сяток с небольшим лет назад, чтобы сравнить то,
что стало, с тем, что было...

Тридцать тысяч гектаров хлеба созрело там, где когда-то было только триста! Более сотни степных кораблей, как журналисты прозвали комбайны, басовито рокотали в чедерских степях, убирай зерно и зеленую массу кукурузы на силос. Битва была такой, что в тысяча девятьсот сорок восьмом году, когда здесь пролегли первые борозды, подобную и представить себе было невозможно! Поля совхозные,

раскинулись в радиусе полусотни километров. И всюду рабочие совхоза, бывшие кочевники, и городские шефы управляли комбайнами, тракторами и автомобилями, как когда-то — скакунами. Чедерцы с лихвой выполнили свое обещание — дать Родине миллион пудов зерна того урожайного года!

Вспомнилось и то, как мало было у колхоза в первом году обобществленного скота: десятка три коров, тысячи полторы овец и коз, сотня лошадей да два десятка верблюдов. Вот, собственно, и вся живность и энергетика хозяйства. А через десятилетие с небольшим? Совхоз помимо миллиона с лишком пудов зерна сдал государству полтысячи тонн мяса, около четырехсот тонн молока и более тридцати тонн шерсти! О свиноводстве здесь до коллективизации имели смутное и даже презрительное представление, а в шестидесятых годах один из первых колхозников коммунист Севен считался уже заправским свиноводом: под его опекой в совхозе насчитывалось до двух тысяч свиней с приплодом!

А вот каким стал знакомый нам Ванька — Иван Сюльдум-оол, тот самый парнишка с челкой упрямых волос, в исступлении кричавший в свое время: «колхоз, трактор, машина!» За его плечами были уже семь классов образования в русской школе, училище механизации сельского хозяйства, курсы бригадиров. Он управлял и трактором, и комбайном, и автомашиной любой марки!..

Октябрьский день короток. Ночью земля звенела от заморозков. На окрестных сопках уже белел снег. А на полях последней из девяти бригад в валках и на корню было еще более двух тысяч гектаров хлебов. Бригадиру (Кустову Валентину) и его заместителю Ивану Сюльдум-оолу было жарко: комбайны работали до двадцати часов в сутки. Дел у руководителей бригады, как говорится, невпроворот. Комбайнёры и шоферы еще в постели, а Ивану в четыре утра надо поднять поваров, подогреть воду и приготовить топливо для заправки машин и комбайнов, проследить, чтобы каждый mechanizator перед выездом в поле провел своему агрегату техухол.

Механизаторы совхоза и шефы говорили об Иване:

— Мастер большой руки! В технике разбирается, что твой повар в картошке. Как говорят: и щвец, и жнец, и на дуде игрец! Он и шофер, и тракторист, и комбайнер, и слесарь, и электросварщик!

Старый Сюльдум-оол осунулся: мучила астма, да и годы уже взяли свое. Но и он был бодр. При случае, как и раньше, старался по-военному пристукнуть каблуком о каблук и отвечать на вопросы четко и ясно, хоть это ему удавалось не всегда. О совхозе не без законной гордости говорил:

— Когда мы начинали это хозяйство, мне и в голову не приходило, что так оно распыляется. Подумать только: тридцать тысяч гектаров, миллион пудов хлеба! Да такие цифры в то время даже и не назывались. А сколько здесь еще дремлет этой целины! И одолеют ее — чего не одолеть: сколько техники, механизаторов сколько! Одолеют! Чедер даст еще много миллионов пудов зерна!

35-летию Победы

Юрий КЮНЗЕГЕШ

СУДЬБА ПОБЕДЫ

1.

Рыча моторами и сталью скрежеща,
грозя бездущием тевтонского меча,
они ползли, неотвратимо, как судьба,
пророча каждому из нас судьбу раба.

Но каждый знал: рабы — не мы. Мы — не рабы.
И каждый был — строитель собственной судьбы.
Девчонка с фабрики, колхозный тракторист
остановить орду фашистскую рвались.

И вот в Москву летит письмо из-за Саян:
«Товарищ, друг! Твоя судьба — судьба моя:
я верен дружбе, никогда не изменю,
ты упадешь в бою — тебя я заменю».

2.

«Победа — бессмертие храбрых, идущих только
вперед,
себя не щадящих для правды», — так говорит народ.
Такой войны не бывало в минувшие времена.
Но правда не ослабевала, как ни ярилась война.

Были и отступления, были и окружения —
ни на одно мгновение не было поражения!
Кричали камни, как дети, под вражеским сапогом.
Взрывались камни — и этим вершили суд над
врагом.

В поту, в крови, как к лафету — орудийный снаряд,
тащил на плечах Победу наш бессмертный солдат,
чтоб там, на дорогах пройденных, умолкли стоны
камней,
чтоб светлое утро Родины сияло еще ясней.

3.

Всего один завет отцы и деды
дают на будущие времена:
«Вам, молодым, Победа вручена,
вы держите в руках судьбу Победы».

Десятки лет звучит погибших голос,
и, силы набираясь, до небес
растут потомки, молодая поросль,
как юный, стройный лиственничный лес.

Они готовы. Позови, труба,—
и встанет юность за отцами следом.
Они бесстрашны. В них — судьба Победы.
И знаем мы: Победа — их судьба.

Борис ДУБРОВИН

КОМАНДИР ЭСКАДРОНА

Памяти командира Тувинского
добровольческого кавалерий-
ского эскадрона Т. Кечил-оола

Вдали багровые года
военных грозных непогод.
Но подвиг чести никогда
не позабудет наш народ.
Путь добровольцев был тяжел,
огнем бессмертья озарен...
Кавалерийский эскадрон
ведет Тюлюш Кечил-оол.

Как будто бы сама судьба,
судьба удачи под седлом,
он слился с кожею седла,
он жаждет встретиться с врагом.
Он весь к победе устремлен...
Сквозь зарево горящих сел
кавалерийский эскадрон
ведет Тюлюш Кечил-оол.

Тюлюш — такой лихой боец,
как будто, в отблесках наград,
ему Буденный как отец,
ему Чапаев — старший брат.
Клинок сраженьем обагрен.
И в Ровно, в Дубно он вошел.
Кавалерийский эскадрон
ведет Тюлюш Кечил-оол.

И сам он был в бою всегда
подобен лезвию клинка.
Рука возмездия тверда.
Он первым мчался на врага.
Там, где опасней, первый — он,
чтобы погибель враг нашел.
Кавалерийский эскадрон
ведет Тюлюш Кечил-оол.

Я слышу выстуки подков,
я слышу пение трубы,
я вижу гривы скакунов,
как крылья солнечной Тувы.
В сказанья будущих времен,
как будто бы орлят орел,
кавалерийский эскадрон
ведет Тюлюш Кечил-оол.

Уважаемая редакция
альманаха «Улуг-Хем»!

Я, Мартынова Матрена
Леонтьевна, проживаю и
работаю в Москве, но родилась,
выросла и долгие годы
трудилась в Туве и всегда считаю ее своей родиной. Слежу за всеми событиями и люблю читать военную литературу. Недавно я прочла в журнале «Советский воин» № 7 за 1980 г. поэму М. Кенин-Лопсана о героине Отечественной войны Марии Цукановой — воине-сибирячке. Читала с восхищением и гордостью за нашего тувинского поэта, который много

лет спустя после того, как кончилась война и смолк гул орудий, прославляет воинов, защищавших нашу Родину.

Убедительно прошу вас от всей души поблагодарить М. Кенин-Лопсана за его прекрасные стихи от имени сотрудников поликлиники, где я работаю, и лично от меня. С его стихами и с самим автором заочно познакомился весь наш большой коллектив.

Пусть прочтут эту поэму и земляки автора.

М. Мартынова.
г. Москва.

Монгуш КЕНИН-ЛОПСАН

ПЕСНЬ О МАРИИ ЦУКАНОВОЙ

Подвигу Героя Советского Союза
Марии Цукановой посвящается

Есть в России немало поэтов, не так ли,
Настоящих певцов — по душе, по судьбе,
И слова золотые в сердцах не иссякли,
Что ж не сложена песня еще о тебе?

Верю: сложат! Чеканные строки литые
Зазвучат, полетят за леса и моря!
Но покуда найдутся слова золотые —
Вот, Мария, негромкая песня моя.

1.

Пересек я хребты голубого Саяна
И пришел к невеликой реке Сарала.
Вдалеке от бушующих волн океана
Здесь моя героиня когда-то росла.

Сарала по долине, как встарь, пробегает
И сияющим летом, под шорох ветвей,
И зимой, подо льдом, неутешно рыдает
О моей героине, подружке своей.

Знаю: память о ней — это горечь и гордость!
И гора, что зовется Горою Любви,
Смотрит вдаль, на восток, опечаленно горбясь,
Словно тихо взывает: «Вернись! Оживи!»

2.

Здесь природа волшебна! Под снегом блестая,
Мощных, царственных елей стоят терема,
И видны на тропинке следы горностая —
Понаставила четких печатей зима.

Солнце низко висит, красным катится шаром
По вершинам, а после, при белой луне,
Мир покажется вдруг поседевшим и старым,
Как молитве, внимая ночной тишине.

Что-то грозное есть в этом древнем молчанье.
Будто некая в нем затаилась гроза:
Темноликие кедры сомкнулись плечами,
И совиные светятся в чаще глаза.

3.

Здесь росла ты, Мария. Твой край богатырский
Нянчил детство твоё: песни пела метель,
Становился нежней крепкий ветер сибирский,
Тихо-тихо качая твою колыбель.

Но тебя поманил океан белопенный,
И «прощай» ты сказала родимой земле:
Сибирячка, ты стала морячкой военной,
Медицинской сестрой на большом корабле.

Пронеслись над планетой немалые сроки,
Но июньский тот день мы забыть не вольны:
Занималась заря у тебя на Востоке,
А на западе вспыхнуло пламя войны...

4.

Здесь горняцкий барак встал над речкою самой...
Мнится мне, что встречаю тебя я везде:
Вот ты по воду утром спускаешься с мамой
И красивые камушки ищешь в воде.

Вот она заплела твои русые косы,
В деревянную школу тебя привела.
Первоклассники бойки и звонкоголосы,
И за окнами даль широка и светла.

Колокольчик звенит-заливается медный,
В класс тебя приглашает учитель: «Входи!..»
Кто сумел бы в тот день, дорогой и приметный,
Знать, какая судьба тебя ждет впереди?

Кто бы мог предсказать то, что вижу я ныне:
Пионерский тебе посвящается сбор.
И потомками в классе твоем, как святыня,
Сохраняется парты твоя до сих пор!

5.

А любимая мама твоя постарела
И в другом проживает сегодня краю,
Из Алтая степного, как сердце велело,
Пишет письма в далекую школу твою.

«За внимание,— пишет,— спасибо, ребята!
Я бы рада любого, как внука, обнять.
Но теперь мне добраться до вас трудновато —
Постарайтесь меня, дорогие, понять.

Столько лет протекло, прошумело событий!
Подрастайте, учитесь отлично, друзья,
И родимую землю и небо любите,
Как любила их Машенька, дочка моя.

И, как дочь моя, Машенька, будьте готовы
За Отчизну подняться в решительный час!..»
Так храните ее материнское слово,
Берегите ее материнский наказ!

6.

Здесь узнал я, что значит посмертная слава!
Время след твой стереть на земле не смогло:
Вспоминает тебя и большая держава.
И в Саянах твое небольшое село.

Здесь росла ты, снежинки ловя на ладони
И колючим ветрам подставляя лицо...
Не досталось тебе стать хозяйкою в доме
И носить на руке золотое кольцо.

Но присвоено улице девичье имя,
Эта улица вечером в ясных огнях,
Кони резвые мчатся по ней — и за ними
Чье-то счастье проносится нынче в санях!

7.

Там, в Европе, смолкали уже батареи,
Завершала Россия свой подвиг святой,
А на Дальнем Востоке стонала Корея
Под фашистскою, под самурайской пятой.

И на помощь народу, в сраженье со смертью,
Устремились Советской страны моряки,
И была среди них ты — сестра милосердья,
Шла сквозь пламя боев, всем смертям вопреки.

К тем, кто ранен, туда, где снарядов разрывы,
С полевой санитарною сумкой ползла...
Шестьдесят моряков, сообщают архивы.
В эти дни ты от гибели верной спасла.

В трудный час, как боец, ты легла к пулемету,
Тонким пальцам послушны его рычаги,
И косила, косила чужую пехоту...
Но живую тебя захватили враги.

8.

Самурайская сабля взметнулась кривая
Над красивой и гордой твоей головой.
Но стояла, презренья к врагу не скрывая,
Сибирячка Мария — цветок полевой.

Острым шилом лицо молодое кололи,
Раскаленный утюг прижимали к спине...
О чудовищной, нечеловеческой боли
Как словами людскими рассказывать мне?

«Ничего не скажу!» — ты врагам отвечала,
Только это и произнесла, а потом,
Как саянские крепкие скалы, молчала,
С неразжатым, разбитым, истерзанным ртом.

И убили враги тебя — нелюди эти,
Ты под пыткой геройскую смерть приняла —
Только слава живая осталась на свете,
Только память о Машеньке не умерла!

9.

Отгребели бои, но глубокие шрамы
Отпечатались в душах на все времена,
И для Ольги Васильевны, старенькой мамы,
До сих пор не окончилась эта война.

И тувинский поэт, гость саянского края,
О твоей небывалой, геройской судьбе
Эту песню слагает, слова подбирая,
На своем языке, незнакомом тебе.

И в Чхончжоне портовом, в далекой Корее,
С пьедестала, прекрасна, как в давние дни,
Ты глядишь на прохожих, глядишь, не старея,
Чтобы Машеньку не забывали они!

Валентин МАНАЕНКОВ

БАЛЛАДА О ТУВИНСКИХ ДОБРОВОЛЬЦАХ

И павшим, и живым тувинским добровольцам, участникам освобождения Ровенчины от немецко-фашистских захватчиков в январе — феврале 1944 года посвящается

Что мы знаем о вас, добровольцы Тувы?
Знаем то, что на фронт уходили и вы.
Молодые араты седлали коней.

Провожала Тува на войну сыновей,
согревала теплом своих ласковых глаз
и бойцам перед битвой давала наказ:
— Русский брат наш в беде.
Брату надо помочь.
Поскорей прогоните захватчиков прочь.
Целовали вы сабли, на верность клялись,
и, как грозные вихри, на запад неслись...

Что мы знаем о вас, добровольцы Тувы?
Знаем то, что в бою были стойкими вы.
Смелый рейд совершил по тылам эскадрон
и фашисту нанес ощутимый урон.
Нападали врасплох, и растерянный враг
полной мерой изведал панический страх.
Выводила из строя одна только весть:
к палачам беспощадна тувинская месть.

С лязгом танки ползли, смять грозила броня —
не слезал богатырь с боевого коня.
Обжигая свинцом, злобно бил пулемет,
но тувинцы, как птицы, летели вперед...
Дни и ночи в боях, дни и ночи в седле
добывали свободу полесской земле.

Что мы знаем о вас, добровольцы Тувы?
Знаем то, что овеяны славою вы.
Ради счастья в борьбе проливали вы кровь.
С нами мирная жизнь, с нами светлая новь.
Край полесский вам шлет благодарный поклон
за союз боевой, за лихой эскадрон,
и от сердца идут нашей дружбы слова:
— Украина — с Тувой!
С Украиной — Тува!

Светлана КОЗЛОВА
СИЛА ПРЕОДОЛЕНИЯ

Имен у победы много.
На всех языках равны.

Украинское «перемога»
запомнилось мне с войны.

Не в том ли сущность победы —
себя осилить суметь,
превозмогая беды,
превозмогая смерть?

Сила преодоления...
Ты нуждаешься в ней,
когда идет в наступление
то, что тебя сильней,
когда почти невозможно
выиграть этот бой,
и только одно надежно —
закрыть пулемет собой.

Рождаются поколения,
уходят в глубины века...

Сила преодоления
делает человека.

БАЛЛАДА О ДЕМОБИЛИЗОВАННОМ СОЛДАТЕ

Домой вернулся Михаил Бухтуев.
Домой вернулся. Отслужил свой срок.
Весна ему сиренью салютует.
Таежный дух приносит ветерок.
Он дома. Он стоит над Енисеем,
засматриваясь тайной глубины,
и золотыми звездами усеян
широкий и свободный взлет волны.
Черемуха цветет, и в парке — танцы,
и девушки смеются — просто так...

Кто говорил, что он взорвался в танке?
Он здесь. Он победил. Взорвался — танк.
А он еще служил потом лет тридцать —
давно бы в прах рассыпалась броня! —
чтоб дать своей победе опериться
и чтоб спасти ребенка из огня.

Давно война в Европе не лютует,
но зреет в Азии нарыв войны...
Домой вернулся Михаил Бухтуев.
В Туву. К восточным рубежам страны.
В нем кровь трех рас,
в нем кровь слилась трех наций,
но если снова встать придется в строй,
он всю ее отдаст земле родной —
ему за правду не впервые драться.

Ни дед его, рабочий Чи Шули,
ни сверстник, на войне сгоревший в
танке,
не отступали ни в какой атаке
от крепости драконьей чешуи!

...Цветет весна. Победе салютует.
На обелисках звезды зажжены.
Домой вернулся Михаил Бухтуев —
племянник
не пришедшего с войны.

БАЛЛАДА О КОМИССАРСКОЙ ЗВЕЗДЕ

Нет, не новым был армейский китель,
ополченцу выданный тогда.
Свитая из толстых красных нитей,
прикипела к рукаву звезда.

— Отпори: звезда политсостава,
комиссар носил, — отец сказал.
А девчонке любопытно стало,
на звезду глядит во все глаза:
уместившаяся на ладони
нитяная звездочка, скажи,
как погиб и где он похоронен,
как он, комиссар, на свете жил?

...Стылое седое Подмосковье
надолбами встретило врага.
Звездочки, окрашенные кровью,
прожигали белые снега.

Девочка, в убежищах, в подвалах,
в ночи взрывов, холода и льда
почему с тобой всегда бывала
нитяная красная звезда?

А соседка девочке внушала:
— Выбрось ты звезду, не береги!
Весь наш дом
загубит твоя шалость,
если вдруг войдут сюда враги...

Было ей, соседке, неизвестно:
и без той звезды, и со звездой
им одно враги нашли бы место —
там, под москворецкою водой...
Но не сбыться этим планам лютым.
Кровью кровь окупится с лихвой...

Вот уже и первые салюты
расцветили небо над Москвой,
а звезда горела — все горела
на ладони красная звезда...

Нам сердца Победа отогрела.
Но осталась память.
Навсегда.

Девочка, давно ты взрослой стала,
жизнь прошла, работая, любя...
Но горит звезда политсостава
не в ладони —
в сердце у тебя.

Александр КОРОБЕЙНИКОВ

СИБИРЯКИ ПОД МОСКОВОЙ

Воспоминания

...Эшелон прибыл в Куйбышев накануне седьмого ноября 1941 года. Шла подготовка войск к торжественной встрече двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской революции. Отделение за отделением ходили в настоящую баню с веником. После бани побрились, переоделись в новенькую форму. Шлем заменила шапка-ушанка. Жители Куйбышева радовались приезду сибиряков.

Утром седьмого ноября на загородной площади большим четырехугольником стояли воинские части по родам войск. В морозном воздухе стыл пар от тысяч дышащих ртов... «Парад... Смирно!» — послышалась команда. Радиопродукторы волнами повторили команду. Вдали, из правого угла боевых колонн, выехали два всадника. Навстречу им парадным галопом поскакал командующий парадом. В центре площади всадники встретились, саблями отдали друг другу честь и обменялись речами-рапортами. Затем три наездника, на скаку осаживая лошадей перед каждым родом войск, поздравляли бойцов. В ответ неслось троекратное «ура». Дошла очередь до артиллеристов. Я впервые увидел Клима Ворошилова. Маршал Советского Союза был словно влит в кавалерийское седло. В юности я видел Ворошилова на картинке к настенному календарю: Климент Ефремович, молодой полководец гражданской войны, в бурке, во весь опор скачет на лошади.

Сегодняшний маршал Ворошилов не утратил молодецкой выпарки. На его решительном и в то же время веселом лице, когда он смотрел на стройные шеренги артиллеристов, была уверенность в победе над фашизмом. Эта уверенность отразилась в могучем трехкратном «ура» сибиряков.

Второй раз в тот же день я увидел маршала Ворошилова и в первый — всесоюзного старосту — Михаила Ивановича Калинина. Они стояли на трибуне в центре площади имени Куйбышева, по кото-

рой, сохраняя интервал, шли маршем сибирские войска. Вслед за военными шла длинная колонна демонстрантов. Улыбки, «ура», улыбки, «ура» в адрес стоящих на трибуне товарищей М. И. Калинина, К. Е. Ворошилова и непосредственно командующего сибирскими дивизиями полковника Мартиросяна — высокого, стройного и красивого человека. По бокам представителей Центрального Комитета ВКП(б) во главе с Председателем Президиума Верховного Совета СССР стояли военные атташе иностранных государств. Я был во втором ряду оцепления, перед трибуной, и отлично видел восторженно удивленные лица иностранцев, передвигавших пилотки с одного уха на другое, пытаясь спасти их от мороза. Видно, что они никак не ожидали такой внушительной демонстрации военных и гражданских в городе на Волге... А на крышах домов стрекотали киносъемочные аппараты...

На другой день, восьмого ноября, на территории шарикоподшипникового завода я опять, в третий раз, встретился с Климентом Ефремовичем Ворошиловым. На этот раз я видел его совсем близко. На скороисработанной трибуне стояли члены правительства М. И. Калинин, К. Е. Ворошилов, командующий сибирскими войсками полковник Мартиросян и представители Куйбышевского обкома партии. Климент Ефремович весело глянул на сухонького Михаила Ивановича, по-простеци тронул его локтем левой руки, сказал:

— Давай, говори, Михал Иваныч.

Все внимание бойцов было обращено на двух людей, чьи портреты висели во всех домах. Михаил Иванович хитренъко посмотрел на Ворошилова из под седых длинных бровей, свисающих на умные глаза, сказал:

— Тебя уполномочил Центральный,— букву «р» Калинин произносил, слегка карставя, — Комитет партии, ты и говори...

По массе красноармейцев, вплотную придинувшихся к трибуне, прошел веселый хохоток... Климент Ефремович говорил коротко, ясно, доходчиво. Я хорошо помню его слова. Вот они:

— Товарищи! Немцы знают, что сибирские солдаты здесь. У них уже поджилки трясутся. Ваша боевая закалка и выносливость заставят фашистов бежать от столицы нашей родины — Москвы. Военный парад сибирских войск седьмого ноября здесь для того и проведен, чтобы иностранные представители, присутствующие на нем, завтра, сегодня же известили весь мир, что Красная Армия, ее вооружение не уничтожены, они только набирают силы для окончательного разгрома немецко-фашистской армии.

— Теперь говори ты,— обратился Климент Ефремович к Михаилу Ивановичу.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР, поблескивая на солнце стеклами железных очков, заговорил так:

— Я верю вам, сибиряки. Вам верит весь советский народ, партия Ленина, что вы не подведете, что враг дрогнет и побежит. А я буду ждать вас в Кремле за орденами... — Калинин ласково смотрел на бойцов и улыбался в седую бородку. Понеслись громкогласные «ура», возгласы — заверения и обещания приехать в Кремль за орденами...

Вечером восьмого ноября, то есть того же дня, дальневосточников — в парадной форме — погрузили в пульмановские вагоны, и на больших скоростях эшелон помчался на Узловую. Там мы пробыли недолго.

...Сталиногорск. Угольный бассейн Москвы. Город химиков. Сюда устремился артиллерийский полк.

На самой кромке лесистого городского парка расположились орудия: стояли побатарейно, полуцоковой, занимая всю внешнюю полосу. Гаубицы уже который день беспрерывно извергали огонь: то залпами, то беглый. Хорошо организованные брустверы огневых точек с ровиками под сошник лафета не давали пушкам катиться назад при отдаче выстрела. Точкой отметки служил фонарь, прикрепленный к дереву. Правильные с помощниками то и дело бросали тяжелый лафет то в левый, то в правый угол сошниковой канавки.

Когда устанавливали орудия, я увидел два памятника. Справа от батареи — Ленин. На его крутой груди распахнулось осеннее полупальто. Левая рука выброшена вперед и чуть вверх, большой палец четко выделяется в привычном жесте ладони. Левая нога полусогнута в колене, как бы для шага вперед. Правая отставлена назад. Вдоль нее вытянута рука с зажатой в ней кепкой.

Среди шквального огня собственной артиллерии, когда к нему примешиваются разрывы немецких снарядов, когда дерево вместе с фонарем давно сбито одним из таких разрывов, когда люди по инерции открывают рот, чтобы не лопнули ушные перепонки, — раздалась звучная команда старшего по батарее:

— Орудия, отметиться. Точка отметки — палец Ильича! Батарея, по фашистам, огонь!

На какую-то долю секунды весь личный состав огневиков обернулся в сторону памятника великому вождю революции. На разгоряченных, грязных от пороховой копоти лицах вспыхнули радостные улыбки, обнажая белые молодые зубы... Повторилась произвольная команда собственных глоток:

— За Ленина, за Родину, по фашистам — огонь! Огонь!

Наводчики проворно отыскивали палец Ильича, четко выполняли команду. Что явилось воодушевляющей силой для бойцов, падавших с ног от смертельной усталости? Все просто: лейтенант Павлов, чтобы не терять горячее время, нашел наиболее видную точку отметки — палец каменной статуи Владимира Ильича, и тем оживил камень. В жесте ленинской руки все увидели символ победы. Жест, который в дни Октябрьской революции призывал, вел в бой их отцов, теперь был обращен к ним — ровесникам революции. В облаках холодного воздуха и порохового дыма Ленин словно был с ними на батареях. И бойцы сражались, пока не был получен приказ отойти к Туле.

...Долгожданный сигнал к наступлению был дан. Где-то позади «заговорили катюши». Тотчас ударила батарея семидесятишестимиллиметровок.

В ее задачу входило бить по колокольне видимой вдали церкви, где был вражеский «НП». Били шрапнелью, трубкой на удар. Варшавское шоссе горело по линии в двадцать пять километров. Был конец января 1942 года. Он завершился прорывом немецкой обороны на участке фронта между городами Сухиничи и Мосальск. В прорыв устремились танки, за ними — пехота. Трудный, необходимый путь на Смоленск был открыт.

Екатерина ТАНОВА

ХАТЫНЬ

1.

Поклон живых прими,
земля Хатыни.
Печные трубы исторгают скорбь.
И скорбь и боль
в сердца стучит,
и кровь по жилам стынет,
и призрак смерти
леденит мой взор.

Сожгли людей —
береза уцелела,
но до скончанья дней
нести ей скорбный крест.
Седою видится она мне,
а не белой.
Седой, как волосы горящие
невест.

А колокольный звон
над тишиной погоста
плывет,
взыывает,
уплыvает вдаль.
И мысль, как молния,
высвечивает версты.
Хатынь и Хадын —
радость и печаль.

2.

В степи тувинской
деревенька Хадын,
в ней звон стоит
от детских голосов.
Цветет черемуха...
А здесь, в Хатыни,—
рядом
боль и укор,
и милосердья зов.

Здесь не свершиться
свадебным обрядам.
В огне невесты,
матери в огне.
— Детей!
Детей не трогайте!
Не надо!..

У изуверов состраданья нет.
Они — хохочущие, наглые —
«сверхлюди»...
Фашизм над миром свой занес сапог:
«Огнем и пулей.
Залпами орудий.
Да будем мы повсюду.
С нами бог».
Кровавые следы.
Следы огня и пули
они оставили —
годам их не стереть...

3.

В далеком Хадыне,
на деревенской улице,
играют дети...

Так не дайте им сгореть.
Молю людей:
— Детей!
Детей не троньте.

Второй Хатынью будет шар земной.
Взываю к разуму,
пока психоз нейтронный
не разразился
атомной войной.

Евгений АНТУФЬЕВ

СТАРШИНА

Нет
сыновей у старшины.
Но есть
медали от войны.

Я на плацу в конце весны
стою в строю в армейской форме...
И ничего нет в мире,
кроме
густого баса старшины.

Вот рота строевым пылит.
Гремит «Прощание славянки»...
Шагать три года до «гражданки»
нам с этим маршем предстоит.

Прошло три года.
Три весны.
И дрогнул голос старшины.
Три слова, сказанных застолью,
отозвались прощальной болью:
— Пишите изредка, сыны...

Я написал. Он мне ответил.
Вот так отца я в жизни встретил.
А мой — погиб на той войне.
Он был ровесник старшине.

Чыргал СЕРЕН-ООЛ
ВЕЧНАЯ СЛАВА

Рвал перепонки барабанные
рев самолетов, будто шквал.
А бомбы падали и падали,
и ужас землю накрывал.

Но не покорность влек, а ненависть
беспрецедентный геноцид —
и приносили клятву верности
Вьетнама стойкие борцы.

Не раз испытано, проверено:
жестокость порождает гнев.
И встали в битву вслед за первыми
и кыс, и оол,
и млад, и сед.

В боях выковывалась армия.
Оружье брали у врага.
Над всей страной пыпало зарево —
года, а кажется, века.

За грабежи и за насилия
враги ответили сполна.
И сила может стать бессилем,
когда неправедна она.

Позор агрессорам Америки,
и их последышам — позор.
На преступления безмерные
глядит История в упор.

Она дает оценку строгую,
пример для будущих времен.
Народ Вьетнама, спасший родину,
будь вечной славой озарен!

Тувинской письменности — полвека

Степан САРЫГ-ООЛ,

народный писатель Тувинской АССР

СЛОВО О БУКВАХ

I. СЛЕДЫ

Если б мог ты счесть следы свои,—
верно, прошагал вокруг Земли.
По чужим стоянкам кочевал,
в стон да в песню думы выливал.

В чистоте серебряных вершин
и на пастбищах, в степной глуши,
где покос, где хлебные поля,—
все хранит следы твои земля.

Где ты ни ступал, пастух босой!..
Оглянись: не заяц ли косой,
спутав тропку, всюду наследил?
Горе ли, беду ли отводил?..

Между валунов, клыкастых скал
клад бесценный — детство я искал...
Но иссохла детская слеза,
нет назад ни тропки, ни следа...

Новые настали времена —
стал ты взрослым. И пришла весна,
ветер вдруг удариł — и, рывком,
все следы запорошил песком.

Нет, неправда! Не стереть никак
черточки на листиках бумаг.
Слабые царапинки? Но нет:
в них — души неистребимый след.

Не стирайся, не скрывайся, след!
К счастью приведи — от горьких лет.
Пусть потомки, глянув на следы,
будут только рады — и горды.

2. ДАР

Огню, воде, лесам,
вершинам гор крутых и перевалам,
земле и небесам
молился мой народ, в большом и в малом.

Он лучшую из доль
в дар духам приносил на белых кошмах —
и подставлял подол,
и ждал в ответ с небес даров роскошных...

Настали времена:
сопла с небес не божеская милость —
безграмотных страна
невиданным сияньем озарилась.

Не в сказке, не во сне
улыбкой светлой в ханстве черной ночи
взошло оно — и нет
шаманских чар и колдовских пророчеств,
ни мертвых ламских книг,
где спит премудрость — чуждая, немая...
Тебя, родной язык,—
все тридцать букв, как дар, я принимаю!

Как жаждущие в зной
к струе аржана припадают жадно,—
народ тувинский мой
спасен от бед живительным аржаном.

Войди в любой аал —
везде костры веселым светом дразнят:
так бай не пировал
в свой самый жирный, самый сытый праздник!

У всадников — смотри! —
за пазухой, а то — за опояской,
повсюду — буквами!
Зачем они, к чему — любому ясно.

Попробуй, потаскай
с собой, бывало, сто томов «Канчира» —
зато легка доска,
обструганная, смазанная жиром.

Берез и тополей
упругая кора, и белый снег, и желтый
песок, и спины гладкие камней —
следы карандаша везде нашел ты.

Как меткое ружье —
охотнику, винтовка — друг солдату,
оружие мое —
мой карандаш, бесценным был тогда ты!

С охотничим ножом
игла и молот, нет вам прежней чести —
букварь с карандашом
повсюду в юртах на почетном месте.

Безмолвны письмена
в курганах древних, тьмой веков налитых...
Нам письменность дана,
народ мой воскресили тридцать литер!

Смотри: и стар, и млад,
где пеший проходил, где ехал конный,
поставят буквы в ряд —
знак радости, знак гордости законной.

Заплачет малый сын —
мать сунет грудь ему, сама букварь читает.
Старик в дыму седин
над книгой горбится, не выпив чашки чаю...

Пять месяцев всего
немолодая женщина училась,
и вот, после того,
в чужой аал приехать ей случилось,
в одну из красных юрт...
И как ее торжественно встречают!
Все лучшее дают,
«учительницей нашей» величают...

Нет удержу волне
ученья, захватившей всех,— недаром
всегда хотелось мне
сравнить те годы со степным пожаром,
но он не сожигал
ни трав, ни пастбищ — ни одной делянки:
пожар тот созидал,—
он нес весну на серые стоянки.

Леонид ЧАДАМБА

ЧУДО НА ОДУГЕНЕ

Рассказ культарамейца

На Одугене, в тайге Кош-Пош,
был у меня ученик хорош.
Старый оленный пастух Бараан Чол
благословение мне прочел:
— Письменность — чудо, солнца восход!
Звездами букв запестрел небесвод.
Стар я — а все же от буквarez
стал я моложе, стал я бодрей.
Старость смыкала веки мои,
гнула усталость меня до земли...
Письменность мне открыла глаза,
в темень вернуться теперь нельзя.
Не нагляжуясь на земную красу!
Словно весной из норы барсук
выглянул: ах, хорошо в лесу!—
словно от спячки восстал медведь...
Голос обрел я, мне впору запеть!

В сердце запали эти слова.
Словно тайга Одуген сама,
светом неведомым залита,
радуясь солнцу, сказала так.

Вешнее солнце в небе горит —
силу и соки земли творит.
Письменность — счастья живой родник,
чистый источник знаний и книг.

Знаю: усталость меня не согнет:
старость век моих не сомнует:
снова рожден в тридцатом году,
я с молодыми рядом иду.
Впору запеть!
В стихах воспоешь
чудо в далекой тайге Кош-Пош,
благословение старика —
давнего, первого ученика.

Салчак ТАМБА

УЧИТЕЛЬ-ПЕРВОКЛАССНИК

Воспоминания

Я еще не проснулся. Лежу в юрте и не знаю,
сон ли мне снится или вправду отец мой с кем-то
о важном деле беседует. До меня только отдельные
слова долетают:

— Как можно будить, дарга! От самого Бай-Хаака они ехали, Кара-Чыраа, Чедер, Шамбалыг и Ажык миновали, где-то возле Бурени ночевали, лошадей меняли сколько раз! Насилу-то добрались на подводах. Устали...

— Так-то оно так. Да ведь я народ собрал, ждут уже: с учителем приеду. Нельзя обманывать народ!

— Трудную работу поручаете ему. Справится ли?

— Не твоя забота, друг. Мы, вожаки арбана, тоже об этом толковали, решили — справится.

Подслушивать и дальше разговор старших, притворяясь спящим, показалось мне нечестным. Я встал.

— О-о, проснулся наш учитель! — воскликнул выборный начальник нашей десятидворки, арбана, Дюлзюкей.

Я вышел из юрты. Солнце поднялось уже высоко, но было по-утреннему свежо. То здесь, то там загадывали мне свои загадки кукушки. У коновязи два оседланных коня, подставив друг другу шеи, как будто ласкались. Чей же второй конь? Умывшись на речке, я вошел в юрту.

— Ну, вот, — удовлетворенно сказал арбанный дарга, — ты и готов в дорогу, учитель. Ты ведь стал нашим учителем, будешь вести кружок ликбеза. Народ ждет тебя на реке Шан, на стоянке Бажынныг-Чурт. Едем! Надо пройти перевал, пока жара не наступила.

Не подумай, читатель, что я хвастаюсь или преувеличиваю. Так было тогда, в тридцатые годы, и не с одним только мной. В том году едва началась моя учеба, и вот уже я сам — учитель! А лет учителю тринадцать, а образование — один класс...

«Спрятаться? — мелькнула мысль. — Но куда? И как это можно — прятаться, когда тебя ждут люди, взрослые люди...»

— Ладно, — разрешил мои сомнения отец. — Поеzzай, сынок. Слышишь: народ ждет. Ты умеешь писать и читать, а в арбане люди неграмотны.

Вот так-так! Сам говорил дарге, что я не справлюсь, а теперь посыпает в дорогу... Что ж, отец сказал — значит, надо ехать. Тот, второй конь, — для меня.

Вот мы и приехали в Бажынныг-Чурт. В тени высоких лиственниц привязаны кони, много коней. И огромная толпа людей, сидящих на земле! Волнение охватило меня: неужели всех их я должен буду учить грамоте? И кого только нет в этой толпе: старики и женщины, похожие на мою мать, молодые парни и принарядившиеся девушки... И все ждут! Заходим в юрту Орустука Докужея, он —

брат арбанного дарги и сам тоже большой начальник, заместитель председателя сумонного партийного комитета. Следом за нами входят еще двое — да кто же не знает Салчака Арапчаа и Салчака Шаравии, активистов и в арбане, и в сумоне! И вот такие люди смотрят на меня, как на взрослого, как будто даже с почтением, и говорят:

— Можно учителя пригласить? Народ зажался.

— Башкы с дороги, пусть отдохнет немногого, холодного чайку попьет,— ответил Дюлзюкей.— Передайте, пусть еще подождут.

В ту пору не то что в арбанаах — в сумонах не было еще настоящих школ. Ни столов, ни стульев, ни парт. Зато доска у каждого своя и всегда с собой: фанерка, смазанная жиром и зачерненная углем или, наоборот, побеленная глиной — самбыра. И острыя палочка или кисточка — бийир, чтобы писать на такой доске. Сидит каждый ученик на земле, и доска у него на колене. И один букварь на десять человек.

Показываю первую букву — «а». Все старательно выводят ее. Думаю, на один урок, как у нас в школе, хватит. Но взрослые ученики мои недовольны, шумят:

— Еще, еще!

— Можно, башкы? — Дюлзюкей, будто школьник, поднимает руку.

— Пожалуйста,— разрешаю, будто и впрямь я — учитель.

— А всего сколько букв, башкы?

— Тридцать шесть.

— Так... Если на каждом уроке по одной букве учить, на букварь месяца не хватит. Другие арбаны по десять букв на одном уроке выучат, обгонят нас, в хвосте плестись будем. Как быть, учитель? — почесывает затылок дарга.

Пришлось на первом же уроке выучить две буквы — «а» и «б»: я не только назвал их, показал, как пишутся заглавная и малая, как различать их в печатном тексте, но и слова на каждую подоб-

рал: на «а» — «авам» — мама, «ачам» — папа, «аалым» — дом мой, на «б» — «башкы» — учитель, «белек» — подарок, «берге» — трудно... Подали мне газету «Шын», и стал я ее читать вслух. А люди слушали и прямо горели желанием читать это сми...

— Через каждые два дня будем сюда съезжаться и вас приглашать, учитель, — сказал мне Дюлзюкей после «урока».

А активисты попросили:

— С горем пополам, но освоили мы когда-то монгольскую письменность. Назовите нам, башкы, с десяток букв, мы обозначим их по-монгольски и будем учить. Позор будет нам, вожакам арбана, если в таком деле от других отстанем!

Конечно, я нарушил все правила — но не согласиться, не выполнить просьбу таких уважаемых людей не мог. Теперь, через полвека, могу в этом признаться.

Впрочем, секрет этот скоро раскрылся.

Молодежь не давала мне покоя. Оседланные кони от нашей коновязи не исчезали. Никто не хотел смирно дожидаться положенного дня занятий.

— Башкы, покажите нам еще одну-две буквы, ну, что вам стоит? Мы ведь с вами молодые, мы должны быть впереди, а то некоторым показываете лишние буквы, чем же они лучше нас, башкы?

И я показывал, рассказывал, читал вслух газету и книгу...

Родная письменность! Она появилась у народа, прежде не имевшего ее, и каждый рвался к ней, как к заветному ключу, как к роднику в жаркий день. Мог ли я не отзваться на это общее желание? Вот уже и арбанный дарга Дюлзюкей ругал ревсомольцев, из-за них, мол, я нарушаю установленный порядок занятий, но что он мог поделать? Да и кто первым-то нарушил...

Даргалары наши решили схитрить: собирались учить буквы, которые я назвал им, под видом каких-то «заседаний». А ревсомольцы хитрее оказались.

Сын Орустука Сульдум — ловкий был парень!— подсмотрел, что на таком «заседании» вожаки наши никаких вопросов не решают, а на тех же дощечках —самбыра буквы, то монгольские, то тувинские, выводят и слова складывают. А еще он подслушал такой разговор:

— Учитель наш мал еще. Хорошо ли, что мы его заставили порядок нарушить?

— О-о, об этом — ни слова никому, и только. Мы же — главные в арбане, мы и учиться должны быстрей и лучше всех.

— В том-то и дело...

Понимаете теперь, почему от нашей коновязи кони не исчезали, почему люди от нашей юрты не отходили?

И наш арбан, хоть позже других в сумоне получил своего «учителя», шел наравне со всеми, а кое в чем и обогнал остальных. Это признал на большом осеннем хурале и секретарь сумонного партийного комитета Салчак Созур.

Осенью, когда надо было мне возвращаться в Бай-Хаак, в школу, я заболел. Арбанного даргу моя болезнь — воспаление легких — и огорчила, но и обрадовала. Он рассудил так: вылечится парень, а в школу уже не уедет, будет сам учительствовать, продолжать занятия ликбеза и зимой. И пришлось продолжать. Я учил земляков чистописанию и правописанию, да заодно и правильно произносить при чтении слова. Математике тоже учил: сложению, вычитанию, умножению и делению, и сразу всему этому находилось применение в жизни аратов. А уж громкие читки, пересказ прочитанного — это мне и самому было интересно. Учил я других и учился сам. Уроки эти продолжались до тех пор, пока, уже восемнадцатилетним, не уехал за границу — в Советский Союз, в город Ойрот-Туру, в Горный Алтай, чтобы из учителя стать «врачом животных», ветеринаром или зоотехником.

Вспоминаю теперь, на пороге старости, далекую юность. И горжусь тем, что, совсем еще мальчишкой, захотел и сумел учить людей.

Монгуш КЕНИН-ЛОПСАН

**БАЛЛАДА О ЧЕЛОВЕКЕ,
ОЖИВЛЯВШЕМ КАМЕННЫЕ КНИГИ**

Памяти профессора С. Е. Малова

На рассвете утреннем алом я прощался с родным
аалом,
меня молодость призывала к знанию, к знанию —
книги в руках.
Меня мама благословила, молоком мой путь
окропила,
и отец — меня проводил он до попутного грузовика.

Со степями я распрошался, над горами вихрем
промчался,
до такой высоты добрался, где кочуют лишь облака,
перевалы мне — не преграда, реки горные —
не преграда!

Так дошел я до Ленинграда из Саянского далека.

Суждено в том городе жить мне, где ковал
революцию Ленин,
где свершениям поколений положил начало
Октябрь.

Суждено в том городе жить мне — в том, который
не стал на колени
перед голодом и блокадой, перед смертью самой —
хотя б.

И студентами в нем мы стали, дни ученья для нас
настали,
человек в очках благородный стал нам вроде
половодья:
дал наказ, и мудрый, и добрый, и Ученому нас
представил —
да, представил тому, кем созданы знаки «Пестрого
букваря».

И другие, древние знаки от Ученого мы узнали —
те, что жили в соседстве с нами на страницах
каменных книг:

наши предки их начертали, и теперь мы их
прочитали,
думы предков пред нами представали, до потомков
дошли — из них.

Как волшебник тувинской сказки воскрешает огонь
угасший,
как целитель в народной сказке возвращает
мертвому жизнь —
так Ученый — безмолвным, безгласным, онемевшим
надписям нашим
возвратил дыханье и голос, и для нас заставил
ожить.

...Вот и молодость пролетела, голова моя поседела,
вот и выбор мой твердо сделан — среди многих
путей и книг.
И так мало в живых сегодня тех, кто дух мой
к знанию поднял!
Вы ушли, дорогой Учитель, но ваш голос во мне
не затих.

Я видал: полноводные реки иссякают и высыхают.
Я слыхал: рассыпаются скалы — остаются груды
песка.
Дорогой Учитель! Навеки ваша жизнь святыней
мне стала,
ваша мудрость не иссякает — как бессмертной
силы река.

Сергей БАИР

УРОК В СТЕПИ

Рассказ-быль

Иргит Дынгыжая — одной из первых женщин,
награжденных орденом Республики,
посвящается

Было это в начале пятидесятых годов. Кровопролитные бои гремели в Корее, и мы всем сердцем сочувствовали ее народу. На Кубе готовились к борьбе те, кто назовет потом себя «барбудос». Мы ничего

еще не знали о них, не знали, что там, на Кубе, живет Эрнест Хемингуэй. Чингиз Айтматов писал уже свои первые рассказы, но мы ничего не знали и о нем. Даже имен этих писателей не слыхали. А знали мы, мальчишки-тувинцы, наизусть стихи Сарыг-оола и Кюнзегеша. В сельских магазинах продавались книги, переведенные на тувинский язык: «Мать» Горького, «Повесть о сыне» Е. Кошевой, «Как закалялась сталь» Н. Островского. Мама купила эти книги, но дала мне прочесть только «Повесть о сыне»: считала, что до других я не дорос. Но стоило ей уйти из дома, как я неизменно их находил и тайком читал, оставляя задания по арифметике на утро. А потом пересказывал другу Эзир-оолу. Он не любил сам портить глаза над толстыми книгами без картинок, но слушал с интересом.

Подснежники и зеленые листья хлебенки — шончалая появились на склонах холмов. И нас потянуло в степь. Однажды мы с Эзир-оолом сбежали с уроков, захватив самодельные суконные, в чернильных пятнах, сумки.

Эзир-оол при помощи заостренного колышка и камня выкалывал луковицы хлебенки. У меня дело идет хуже: нет-нет, да и попаду камнем по пальцу. В небе — ни облачка. Вдали мирно пасутся овцы. Вот и суслик выскоцил из норы, пугливо озирается и, пропев свое «чик-чик», перебегает в другую норку. Я завидую всему: весеннему солнцу, подснежникам, овечкам, коршуну в небе и даже этому рыжему суслику. Ведь им не нужно, как мне, думать об учебе, беспокоиться о домашних заданиях, их не ругают за шалости...

— А-а! Вот вы где уроки проводите, голубчики!

На вершине холма в темно-зеленом халате и в мягких сапогах стоит мать моего друга, суровоглядит на нас. Как ее зовут — я не знаю, мне известны только два прозвища: одно уважительное, Дарга-угбай (Тетка-начальник), другое шутливое — «Прямо чудо» (она любит так говорить). Но сейчас ей не до присловий, она очень строга:

— Не вздумайте убегать — мигом догоню! А ну, идите ко мне!

И мы тихонько, как мышата, карабкаемся к ней, наверх.

— О-ох! Руки-то, руки какие! Грязи-то сколько, и когти, как у черного ворона! — возмущается она. И сразу обращается ко мне:

— Тебя, Алеша, мать искала. Уехала на вызов к чабанам. Не скоро вернется. Сказала, чтоб ты пока пожил у нас в доме. А ну, покажите мне ваши тетрадки!

Мы нехотя достаем тетради из сумок. Сначала она смотрит мои. Долго и сосредоточенно изучает взглядом тетрадь по родному языку и чем дальше, тем больше хмурится.

— Как же вы пишете? Неужели все в классе так пишут? И учителя не требуют, чтобы вы писали красиво? Не верю. Прямо беда! Как курица лапой... Да нет, куриные следы красивее. И еще четверки вам ставят. Прямо чудо!

Мы слушаем, понурив головы.

— Ага, молчите! Ваше молчание приятнее звуков дошипулуура. Как же мы-то учились в свое время — прямо чудо!

Тут мой друг, видно, почувствовал, что гроза, если и не миновала еще, то может пройти стороной. И неожиданно для меня попросил:

— Расскажи, мам, как тебя орденом наградили...

— Погоди ты! Ишь нетерпеливый какой! Неприлично это — старших перебивать. Не-ет, мы с уроков не удирали, наоборот, сами искали себе уроки.

Дарга-угбай, прищурившись, глянула на узенькую дорогу, почти тропинку, тянущуюся к деревне. Не спеша достала свою длинную трубку, набила ее монгольским табаком — дунзе. И продолжала:

— Вот идешь ты по степи. Навстречу — всадник, а в руках у него, думаете, что? — Букварь! Глядит в него и слоги в слова складывает. Возле юрты ста-руха или там девчонка корову доит — а рядом букварь дожидается. Кончит она доить, и опять за книжку. Прямо чудо! Да вы не смеяйтесь, ничего тут нет смешного, просто люди знали, что учить-

ся — всякому пригодится. А знаете, что такое ликбез?

Мы не знали. Мы повторили за ней это непонятное слово и переглянулись.

Глаза Дарга-угбай весело засветились:

— Прямо чудо! Ликвидация безграмотности, вот что это такое! Подрастете — расскажут вам в школе и об этом. А я пунктом ликбеза заведовала. И друзей нажила в те годы, и врагов... Враги все, бывало, твердили: не женское это дело, одна, мол, хромая овца все стадо портит, держите ее подальше от своих жен... А еще они говорили — парнишек наших, вот таких, как вы, надо, мол, по-старинному тибетской грамоте учить, чтобы росли учеными ламами, монахами. Что с такими невеждами толковать? Все равно, что кедр в тайге с корнями вырывать.

...Как-то зимой поехала в горы, на дальнюю стоянку. Своего коня у меня не было, попросила у председателя сумона, и сама потом пожалела об этом. Забыла простое правило: не знаешь нрава лошади — не подходи к ней, или укусит, или лягнет. Недаром, видать, председатель с такой неокотой дал мне ее.

Не доезжая стоянки, лошадь эта вдруг шарахнулась в сторону. Я не удержалась в седле, упала, а ногой запуталась в стремени, никак не освобожусь. Лошадь и потащила меня вниз головой по глубокому снегу.

В себя пришла уже в юрте. Незнакомый человек подносил мне прямо к губам теплый чай и приговаривал проклятия злым духам. Несколько дней пролежала я там. Спасителя моего звали Бадыжык, табунщиком он был. Настиг ту норовистую лошадь, когда она уже к каменистой тропе подскакала. Еще бы немногого — и разбила бы я себе голову о камни. Прямо чудо!

Табунщик меня лечил, как мог, а я его грамоте учила. За месяц выучился. Где бывал, там и писал буквы — на снегу, на скалах, на дверях юрты. Тетрадей, как у вас, карандашей, ручек, блокнотов

разных тогда ведь не было... Этот табунщик теперь — директор вашей школы. Мой ученик...

Она отложила в сторону трубку с длинным чубуком и, многозначительно глядя на нас, добавила:

— Лошадь падет — подкова останется, человек умрет — доброе имя останется, так в народе говорят. Запомните это на всю жизнь, мои охотники за шончалаем.

...Доброе имя останется... Много лет прошло. Теперь и у меня есть ученики, но этот урок в степи и свою мудрую собеседницу я никогда не забуду.

Проза

Владимир ЕРМОЛАЕВ

ИЗГНАНИЕ

Маленькая повесть

Узка долина Алаша. Горы теснят ее справа и слева, завалили обломками скал. Яростно бьется река, с грохотом крутит огромные камни, точит их один о другой, круглыми ковригами укладывает на дно, швыряет на берега. Дивуются люди: откуда взялись такие камни? Легенды, веселые и страшные, поют старые сказители о великих батырах, об их прекрасных женах, умевших выпекать хлебы с чугунную чашу, о злом духе каменных гор, превратившем батыров и их подруг в мертвые камни, расставив их по степным долинам.

На небольшом займище едва уместилось полдесятка юрт. Хозяйства бедняцкие, пастбища скучные, а о пашне и говорить нечего — негде с деревянной сошкой повернуться. Приходится весной со всем скарбом кочевать в долину Хемчика, засевать там на каменистой почве крохотные полоски просом, ячменем.

Юрты старика Седена и его старшего сына Туктуг-оола стоят в нижнем конце займища. Поблизости живет старый друг Седена — Хаван-оол. У всех у них по две коровы, по паре верховых лошадей, по полсотни овец. Жить можно, если не случится какая беда — вроде неурожая хлеба, падежа на скотину. Но и без того много бед: налоги хощунные, налоги сумонные, поборы хуренских лам.

Два года назад Туктуг-оол женился, ему сделали новую юрту — где-то купили старую решетку,

а кошму сами скатали. Теперь у Туктуг-оола появился в юрте новый житель — маленькая Хургулек. Пятнадцатилетняя Гиме, вторая дочка Хаван-оола, бегает к ним поводиться, поиграть с крошкой. Старшая сестра Тиме замужем, живет на устье Алаша. У ней тоже есть малютка. Отпросившись у матери, Тиме бегает и туда, это недалеко: версты полторы, не больше. Уж больно она любит малышей. Особая дружба у ней с Баиром, младшим сыном Седена. Они вместе пасут овечек, вместе бегают за дровами, собирают на зиму кандык, и вообще друг без друга никуда.

День ясный. На небе — ни облачка. Купаясь в солнечном свете, поют жаворонки, не смолкая, стрекочут краснокрылые кобылки.

Седенова юрта старая, сам хозяин не сразу вспомнит, сколь ей годов. В трех шагах от нее привязаны за вбитые в землю колышки два теленка, это чтобы они не убежали на пастбище к коровам, не высосали молоко. В холодке у стены, свернувшись, лежит лохматая собака. Она такая же старая, как юрта, и так же торчат на ее боках клочья шерсти. Тучи мух не дают покоя ни собаке, ни телятам. Сосунки отмахиваются от них ушами, а пес злится, ворчит, цокает зубами...

На поляне пятеро полуобнаженных мужчин, поджав под себя ноги, сидят вокруг кучи овечьей шерсти и мерно, враз бьют по ней длинными палками: хруп-хруп, хруп-хруп! — громче раздается над поляной, — уп-уп, уп-уп! — отвечает эхо с соседнего утеса. Бритые до затылка головы мужчин блестят, лоснятся от пота, концы туго заплетенных кос мотаются по голым загорелым спинам. При каждом ударе палок куча шерсти вздрагивает, как живая, дыбится и взрывается пушистыми хлопьями.

Поодаль группа женщин. Спустив до пояса халаты, кто на корточках, кто на коленях, низко склонившись, раскладывают на большом полотнище мягкую шерсть. Возле них играют дети. Женщины громко обсуждают свои дела, делятся новостями, смеются, сердятся, покрикивают на детей... Чуть по дальше мальчишка верхом на лошади ездит взад-

вперед по травянистому полю, таскает привязанный ременными постромками к седлу каток с заготовкой кошмы. Мальчик поет сочиненную им самим песню, часто оглядывается: хорошо ли катится каток, не спутались бы постромки...

Жаркое солнце печет спины людей, золотит ребячие лица. Размашистые ветви тополей спустили разомлевшие листья. Неподвижно стоят у своих норок суслики. Черная тень коршуна проплыла по полю — суслики исчезли, точно их и не было. Старая собака подняла голову, навострила уши: от реки послышался хруст гальки, пофыркивание лошадей и незнакомые голоса. Из зарослей акаций с берега Алаша выехал человек в богатом шелковом халате, в опущенной соболем шапке, с красной шишкой и цветными лентами, за ним следовали трое слуг. Это был нойон — владетельный князь огромного хошуна. Он соскочил с лошади возле юрты Седена. Бросив подоспевшему слуге поводья, крикнул:

— Кто хозяин юрты?

Увидев нойона, мужчины, разбивавшие шерсть, гобросали палки, вскочили.

— Я, сант,— робко выйдя вперед и низко кланяясь, ответил Седен. Его голова серебрилась на солнце, морщинистое от старости и труда лицо выражало рабскую покорность.

В этот момент старый пес, лежавший возле юрты, бросился на гостя, злобно залаял и рванул полу его халата. Развернувшись, нойон ударил собаку плетью, второй удар обрушил на стоявшего перед ним Седена. Старик схватился за голову, упал на колени. Рассвирепевший феодал продолжал хлестать его по чему попало:

— У-у, подлая тварь! Я покажу тебе, как напускать собак на благородного человека! Вот тебе! Вот тебе!

Туктуг-оол с помертвевшим лицом, не смея сам вступиться за отца, крепко держал младшего брата, кричавшего на нойона:

— Ты за что его бьешь? Тебя ведь собака укусила, а не он!

Отчаянным усилием Баир вырвался из рук бра-

та, бросился к отцу, загородил собой от нойона. Удар плетью пришелся парню по шее. Банр вцепился в руку истязателя, вырвал плеть и, швырнув ее в лицо нойону, скрылся в караганнике.

— Вяжите его! — завопил нойон. — Вяжите всех этих разбойников! Я отрублю им головы, истреблю все их гнезда!

Туктуг-оол, молодой, сильный, по-прежнему стоял точно прибитый к месту. Страх перед начальством метался в его глазах, с рабской покорностью ждал он наказания.

Нойон крикнул:

— А ты, ничтожный человек, чего стоишь, иди, ищи своего брата-разбойника, веди его сюда! — Видя, что тот не двигается с места, приказал слугам: — Вяжите его и гоните в хошунное управление! — Нойон выхватил у одного из слуг плеть, вскочил на коня и ускакал.

Туктуг-оол даже не сопротивлялся, когда ему завернули руки за спину, стянули их арканом так, что они почернели. Один из прислужников феодала сел на лошадь. Погнали парня со связанными руками за двадцать верст...

В темной жизни бедняков-кочевников и так мало радостей, а наезды начальства часто грозят горем, слезами, а то и большим несчастьем. С отъездом нойона аал будто вымер. Попрятавшиеся по юртам люди каждый по-своему переживали события дня. Избитый Седен прикладывал мокрую тряпку к опухшему лицу, а жена поминутно поливала тряпину холодной водой. Скупые слезы из ее загубленных трахомой глаз текли по глубоким морщинам щек. Она не видела, что творил феодал с ее стариком, с детьми — мутная пелена застилала больные глаза; только слышала, как бесновался разъяренный начальник, издеваясь над ними.

С Бай-Тайги спустилась мокрая низкая туча, облепила туманом лес и поляны, заморосил, будто через сито, холодный дождик. Тиме не спала всю ночь. «Где он сейчас? Идет дождь, холодно... А у него никакой одежды, на нем только трусы...» — думала она уж в который раз, готовая сорваться с по-

стели и бежать на выручку Баиру. Она побежала бы, не глядя на холод и дождь, оббежала бы все их заветные места, где они прятались от посторонних, пели песни, рассказывали друг другу услышанные от родителей сказки, делились своими радостями и заботами, но темная ненастная ночь пугала ее...

Рано утром, завернув в тряпочку кусок вареной баранины, прихватив, для вида, деревянное ведерко, с которым всегда ходит за водой, Тиме пошла на речку. По поляне шла степенно, не торопясь, но за кустами акаций стремглав полетела знакомой дорожкой к зеленой осоке, где у них с Баиром был построен балаган: там прятались в ненастье. Балаган оказался пустым. Не было Баира и в пещерке под крутым берегом Алаша. Девочка растерялась: где искать, куда идти?

Острые лучи утреннего солнца прошивали остатки дождевой тучи. Шумел камнями Алаш, белопенные волны его гнались одна за другой, ударялись о береговые скалы, дробились и распадались. Тиме долго шла вверх по реке, заглядывая в укромные уголки, где мог спрятаться Баир. И он, и она знали всех птиц своей родины, и любимым их развлечением было перекликаться с дроздами, сороками, подражая им. Обрадованные солнечным утром, просыпались пернатые птицы, наполняя лес веселым гомоном. Тиме три раза прокричала сорокой, как было принято у них сигналом в играх, потом иволгой, дроздом-трещоткой, в надежде, что Баир откликнется. Не дождавшись ответа, усталая, присела под елкой и задумалась.

Тополевый лес на берегах Алаша изредка уступает клочок доброй земли семейству елей. Их немного, но ельники так тесно и дружно живут, что не вдруг проскочишь сквозь густую сеть колючих веток. Прислушиваясь к разноголосому птичьему разговору, Тиме обратила внимание на беспокойные громкие крики птиц где-то в глубине ельника. Поняла: что-то их беспокоит — и пошла посмотреть. За небольшим болотцем увидела огромную старую ель, ветви которой спускались внизу до самой земли. Вокруг на деревьях с вершины на вершину с кри-

ком метались дрозды и сорокопуты. Не без страха она подошла и приподняла тяжелую ветку, заглянула внутрь.

Там было сухо, ни одна капля дождя не могла пробиться к основанию дерева. В ямке между корнями, скорчившись, лежал Баир. По загорелому до черноты телу сновали большие муравьи.

— Баир! — негромко позвала Тиме. Он не ответил. — Баир! — громче позвала она. Тот даже не шелохнулся. Тиме испугалась и закричала: — Баир! Баир! Ты умер? — она со страхом протянула руку, боязливо взяла его за плечо...

Измученный холодной бессонной ночью юноша заснул, когда утреннее солнце прогнало из-под деревьев сырой застывший воздух. Спал так, что не чувствовал укусов муравьев, не слышал крика Тиме, очнулся, когда она изо всех сил начала его трясти. Он вздрогнул, вскочил, ударился головой о нависавшие ветки и упал на корни. Схватившись за ушибленный бок, с трудом открыл глаза:

— Это ты? — спросил он не совсем проснувшимся голосом.

— На, поешь скорее, ты ведь голодный, — Тиме протянула ему узелок с едой. — А я думала, ты умер: кричу, кричу, а ты молчишь... Где теперь жить будешь? Мама сказала, что тебя поймают, бить шибко будут... Знаешь что? Давай убежим куда-нибудь! Может, где нойонов нету...

— Если бы я знал, куда бежать, я ведь нигде не был, ничего не видал, не знаю... Может, мне лучше утонуть в Алаше...

— Что ты говоришь! А я, как же я? Нет, нет, мы с тобой уйдем на Кара-Холь, там, говорят, моя тетка Серенмаа живет, вот мы и будем у ней жить, она нас не прогонит.

— Тебе нельзя со мной бежать. Моим родным худо будет от нойона из-за меня. Если узнают, что ты вместе со мной убежала, будет худо и твоим родителям. Много горя делает нойон.

— Но если ты пойдешь один, никого не знаешь и тебя никто не знает, незнакомые люди подумают, что ты пришел коней воровать, сразу поймают и

убьют. А если я с тобой буду, то ведь так не подумают, правда? Скажут: куда-то брат с сестрой пошли... Хорошо будет у тетушки, будем помогать ей по хозяйству. Говорят, там красивое озеро, по нему острова плавают...

Тиме так горячо убеждала, что Баир у показалось, действительно у тетушки им будет хорошо: не надо бояться нойона, никто не станет ловить и бить. Но неожиданный шум и голоса вмиг спугнули их счастливые мечты...

Не удалась Тиме детская хитрость с ведерком для воды: двое нойонских слуг проследили каждый ее шаг, волками набросились на Баира, скрутили ему руки, связали арканом. Тот отчаянно сопротивлялся. Один из нойонских разбойников крикнул:

— Смотрите на этого парнишку — в табуне не ходил, а какой дикий. Такого не сразу объездишь...

— Ничего-о, оседлаем покрепче, попрыгает — смиренный станет. А когда сто палок всыплют ему в мягкое место, тогда узнает, сколько стоит одна пола байского халата,— со смехом сказал второй.— Вяжи ему покрепче руки, вот так, чтоб не царилась.

Связанного Баира вытащили из-под ветвистого навеса ели, посадили на лошадь позади седла и поехали из леса. Прячась за деревьями, Тиме последовала за ними. На поляне, где расходились тропы, она заметила, что байские слуги повезли пленника по тропе, ведущей к ламскому монастырю, до которого было не больше трех верст.

Монастырь окружен высоким забором из частокола. Во дворе, кроме храма, немудреные деревянные избушки, которые используются для склада ламского имущества и хранения продуктов. Для жилья старших лам большие белые юрты, а для прислуги, мелких незнатных лам и учеников — обычные аратские юрты, старые и темные.

Долго ходила Тиме вокруг двора в надежде найти какую-нибудь лазейку. Только в одном месте удалось отыскать небольшую дыру, через которую ламские прислужники вытаскивали нечистоты. Че-

рез нее увидела, как Баира привели к избушке, втолкнули в нее.

На редкость неумелыми руками построена ламская амбарушка. Тонкие бревнышки из неочищенных тополек уложены вместо мха на просянную солому. В амбарушке без окон почти светло: сквозь щели светит солнце, дует ветер, летают воробы. Крыша из коротких потолочин просвечивается в ночное время луной и звездами...

На земляном полу, рядом со скамеечкой, которая в юртовом обиходе служит столиком, повесив голову, сидит Баир. От связанных за спиной рук тянутся аркан к стойке, поддерживающей крышу. Привязан крепко — больше двух шагов от стойки не уйдешь. Третий сутки сидит он, всеми забытый, ожидая казни. Но не до него в эти дни палающим: в храме и на дворе идет праздник, там гудят барабаны, звенят и воют трубы, не утихает бормотание лам и крики их гостей — больше все из начальства.

Тяжелая дремота давит на глаза Баира, иногда он на короткий миг засыпает, но боли в перетянутых арканом руках не дают ни минуты покоя. От жажды и голода он так ослаб, что перестал пугаться всякого шороха, как это было в первые сутки. Он не сразу услыхал скрип отворяющейся двери, поднял голову, только когда почувствовал ветер, ворвавшийся в амбарушку. Перед ним стоял ламский послушник с медным кувшином и деревянной чашкой. Баир испуганно спросил:

— Ты кто?

— Сандык я. Меня мама послала... Чаю принес тебе, тары.

— Развяжи мне руки.

— Я развязал бы, но ведь ты убежишь... Ты убежишь, а меня свяжут и посадят на твоё место.

— Я не убегу. Я чаю попью. Ох, как пить хочется!

— Нет, не буду развязывать. Боюсь... Лучше я покормлю тебя из своих рук. На вот, попей, — говорит Сандык, наливая в чашку чай из кувшина. — На, пей,шибко не трясишься, прольешь... Еще хочешь? Пей, пей! Я тары насыплю в чай, ты уж

как-нибудь языком ее вылизывай... я чашку-то поддержу... Тебя за что посадили? Мне говорили, ты с самим нойоном подрался. Правда?

— Я за отца заступался, нагайку отобрал у него.

— Ох, что ты наделал! Тебя битьшибко будут, в железо закуют, в Кандан-хуре отправят, а там всем головы отрубают... Говорят, потом сущеные головы обратно присылают, родителям.

— Что же мне делать?! Что делать? Научи меня. Может, ты знаешь... Неужели тебе не жалко меня?

— Жалко, очень жалко! Но что я могу поделать? Я боюсь, меня тоже посадят за то, что я принес тебе чаю. Это только добрый дедушка лама разрешил принести. Он вон там стоит, за дверью... Слышишь, это он стучит мне. Прощай, Баир! Не обижайся на меня, я ведь такой же парень, как ты, всякий начальник может меня забить насмерть.

Баир вскочил и в страхе закричал:

— Сандык! Сандык! Не уходи! Мне страшно! Не уходи! — повторял он сквозь слезы, видя, как закрывалась дверь его тюрьмы. Он слышал, как лязгнул затвор, щелкнул ключ в замке и замерли, удаляясь, шаги Сандыка.

Наступила третья ночь его заключения. Поднялся ветер, он был так силен, что выдувал солому из стен амбарушки, грозно шумел по крыше, сотрясая убогую постройку тюрьмы. Острыми стрелами залетали сквозь щели частые молнии, ослепляя глаза пленника; где-то высоко-высоко в небесах, не переставая, громыхало, будто рушились горы, взрывались скалы Алаша. Пошел дождь. Сначала струйки, потом целые ручьи грязной воды потекли с крыши на Баира. Он пытался отползти к стене, но аркан не пускал. Тогда он, изогнувшись, схватил зубами узел аркана возле стойки, пытаясь его перегрызть, но даже его молодым острым зубам оказалось это не под силу. Со стоном он упал на мокрую землю и, не в силах подняться, заплакал горькими слезами.

Вскоре грозовая туча прошла, все реже сверкала молния, затихали раскаты грома, но грязные капли воды с крыши продолжали капать на голое тело юноши. Он уже не чувствовал их холода, замерла и боль в руках, страшная слабость сковала все его тело, гасло сознание... Вдруг что-то тяжелое ударило по голове, расположилось по лицу, залепило глаза: ком мокрой земли выпал из открывшегося отверстия в потолке. Кто-то оттирал куски кровельной коры, расширяя дыру. Баир очнулся и громко застонал.

— Баир! Баир! — услышал он знакомый голос, от которого вздрогнуло и забилось сердце. — Баир! Помоги мне корину убрать — она тяжелая, не могу сдвинуть... Баир вскочил и закричал:

— Тиме! Товарищ мой! Не могу помочь, руки связаны...

— Ну, подожди маленько, я еще немного обломаю кору, пролезу к тебе. Потерпи, пожалуйста. — Ох, какая она крепкая, я ногой попробую, нож у меня затупился...

Внутрь посыпались крошки коры, и скоро отверстие расширилось настолько, что Тиме, хоть и с трудом, спустилась внутрь амбарушки.

— Ух, как тут темно! Где ты, Баир?

— Вот я, вот я, здесь, Тиме, у столба.

Девушка нашупала аркан у стойки, перерезала его и долго мучилась, развязывая узлы, врезавшиеся в опухшие руки.

— Ой-ой-ой! — застонал Баир. — Что делать буду? Пропали мои руки, пальцы совсем не шевелятся, они, как не мои... Потри мне их, пожалуйста.

Тиме изо всех сил принялась тереть онемевшие пальцы, как могла, отдохнет немного и опять трет.

— Ну как? — спрашивает она, — помогает?

— Лучше, лучше стало! Немножко больно даже.

— Если сможешь, вылезь на крышу и помоги мне. Торопиться надо: ведь скоро светать начнет, люди придут.

Баир встал на скамейку, вырвал из крыши целиую корину, вылез наружу и помог выбраться Тиме.

После грозы высокое небо сверкало звездами. Было уже далеко за полночь, они спрыгнули с амбара, бросились вдоль изгороди, к тому пролому, через который ламы вытаскивали мусор. С той стороны у забора стоял верховик Тиме...

— Сыночек! — радостными слезами встретила Баира исстрадавшаяся мать. — Тебя отпустили? Нашлись добрые люди, заступились за тебя?..

— Нет, мама, я убежал. Меня Тиме спасла. Скоро совсем рассветет... Я не могу жить дома, меня опять поймают, связуют. Вот посмотри, что они сделали с моими руками! — протянул он к матери посиневшие от кровоподтеков изуродованные руки.

— Ой-ой-ой! Что они сделали с тобой, звери лютые! Не мать их родила — волчица! Куда же ты убежишь, сынок? Кто тебя спрячет от злых начальников?! Нет у тебя матери, кроме меня, нету другого дома, одна твоя родина — наша старая юрта. Ты голодный, садись, покушай...

— Нельзя мне дольше оставаться, увидят соседи, узнает сумонный дарга и опять схватят, посадят в амбар. Скоро солнце взойдет...

— Ну, хоть немного подожди, я тебе мяса, тары дам. Как же ты голодный-то пойдешь? — говорила она, вытирая ладонью мокрые от слез морщины лица. — Вот в этом мешочке творог, пузырь масла, далгану немного... Как ты жить-то будешь, кто тебя накормит, пригреет, сыночек? И куда же ты пойдешь-то?..

— Я и сам не знаю, мама, куда идти. Может, ты посоветуешь?

— Я слыхала, за горами есть русские деревни, может, там примут тебя в работники. Иди к ним. Отец-то вечером уехал к нойону просить за тебя. Вот беда, как бы его за тебя не посадили в кара-бажын. Если бы он был дома, отдал бы тебе своего верховика, а то как пойдешь пешком в такую даль...

— Я на своем жеребенке поеду. Он уже два раза под седлом был, если уставать будет, — пешком пойду, — ответил Баир, взял мешок с продуктами, обнял мать и вышел.

Взглянув на сильно посветлевшее небо, заторо-

лился к лесу, где шумел вздувшийся от дождя Алаш. На берегу, держа в поводу оседланного коня, его ждала Тиме. Она уговорила родителей отпустить ее к тетке.

— А где твой верховик? — спросила она, заметив у него в руках седло.

— За рекой, у сестры. Ничего, я бродом около тебя перейду. Сестрина юрта недалеко, с версту, не больше.

Оседлав жеребчика, который пасся на лугу недалеко от аала, где жила Баирова сестра, не задерживаясь, они поехали вверх по Алашу, избегая большой торной тропы, на которой могли встретить начальство. Днем ехали хорошо: светило солнышко, в небе пели жаворонки, в лесу кукушки отсчитывали им по три десятка лет, а на лугах и полянках, высоко подпрыгивая, перебегали через дорогу тушканчики.

Незаметно подкрался вечер. Еще ярко горел закат, не сразу смолкли дневные певцы, прилетел откуда-то легкий прохладный ветерок. Над закатившимся огромным красным солнцем появилась вечерняя звезда, завел свою бесконечную песню козодой-полуночник.

Потух беззаботный веселый разговор путников. Чем дальше, тем чаще спрашивали друг у друга: а где же нам ночевать? Впервые оторванные от привычного домашнего быта, предоставленные самим себе, они еще не умели приспособливаться к возникшим трудностям, а трудности были немалые: ночевать в чужих юртах рискованно — поймают, а в незнакомой местности без оружия — боязно...

Так и ехали, гадая, где бы переночевать, до полуночи, а с полуночи — до утренней зари, которая вернула им и беззаботность, и веселое настроение. Когда рассвело, стреножили коней на пойме, а сами, подложив в изголовья седла, проспали до обеда — где кому любо.

Только на третий день к вечеру Баир и Тиме спустились с гор в долину речки Чаш-Тал, которая впадает в верхний конец озера Кара-Холь. Юрт было много. Не сразу нашли человека, который рассказал

им, как найти тетушку Серенму. Тетушка и дядя очень обрадовались племяннице и ее товарищу, которого Тиме назвала своим сродным братом по отцу. Еще больше обрадовались гостям хозяйские дети — Биче-кыс и Адавастай.

Биче-кыс была немного постарше Тиме: она взяла как бы шефство над гостью, показала ей наряды, познакомила с подружками, рассказала о том, как они развлекаются, поют, играют, не преминула поведать о девичьих тайнах своего аала.

Тетушка Серенмаа долго, обстоятельно рассказывала Баира о жизни его родителей, об их достатке, сколько у них овец, коров и прочего... И вдруг, взглянув на руки гостя, испугалась и в замешательстве тихо спросила:

— Сынок, что у тебя с руками, почему они покрепели?

Баир смутился. Первая мысль была — рассказать правду, но, сам не зная, почему, воздержался и, отвернувшись, едва проговорил:

— Болели сильно...

Адавастай оказался ровесником Баиру. Они быстро подружились, ходили в лес, по горам, по скалам над озером Кара-Холь. Август дарит людям ягоды, орехи, сладкие коренья сараны. Весело и беззаботно прошло несколько дней, Баир стал по-немногу успокаиваться, уже не так остро болела душа о покинутом родном очаге, об оставленных родителях. Помогло этому и добре отношение к исму тетушки Серенмы и дяди Сенги.

Биче-кыс сказала Тиме, когда они возвращались из леса с полными туесками малины:

— Пойдемте сегодня шаманку слушать? Ох и интересно она сказки рассказывает! Она не шаманит, это так ее прозвали за бубен, она много-много сказок знает. Зови ребят, пойдемте!

Вечером возле одной из юрт стал собираться народ: молодые, пожилые, звонкоголосая детвора. Рассаживались, кому где любо. Из юрты, над дверью которой лежал небольшой бубен, вышла пожилая, но еще красивая женщина. Костюм ее ничем не походил на шаманский: на темно-синем фоне

халата, на груди и плечах, ярко горели фантастические цветы, на голове — обычный платок. Она взяла с крыши бубен, бросила перед дверью коврик, села на него и, ласково улыбнувшись, сказала:

— Сегодня я расскажу сказку о Зеленой Красавице, о ее друге Кара-Холе и Злом Пустыннике. Вы часто спрашиваете, откуда я знаю столько сказок? Их мне рассказывает сама наша родная природа. Посмотрите вокруг: разве не сказочны вон те снежные горы, одетые в теплые дохи тайги? Разве не прекрасно наше озеро Кара-Холь, в темной глубине которого живут огромные рыбы, разве не чудесны наши реки с самой чистой прохладной водой? А бескрайние наши степи, где гуляют дзерены и козы, летают тысячные стаи дроф, журавлей и других птиц! Посмотрите на все это с открытой душой, и вы познаете настоящую красоту и радость...

Она подняла бубен, ударила по нему рукой и, наклонив голову, прислушалась: раздался серебристый звон колокольчиков, нанизанных на ободе, и тихий гуд самого бубна.

— Проснется Зеленая Красавица в первый день весны, сбросит снежное одеяло, погреется на солнышке и примется за работу. Пересчитает почки на деревьях, прочешет ветром старые пожухлые травы, сама бежит-торопится к Кара-Холю, смотрится в оттаявшую гладь его глубоких вод, не насмотрится, любуется своими цветочными нарядами, не нарадуется. А озеро глубокое-глубокое, как глубока его любовь к Зеленой Красавице. Тосковал Кара-Холь, когда ненастье мешало их встрече..

Рассказывая, шаманка изредка поднимала бубен, трогала его рукой и все прислушивалась к серебристому звуку колокольчиков.

— Однажды, — продолжала она, — залетел к нам через горы Злой Пустынник, царь далекой жаркой пустыни. Увидел он Зеленую Красавицу, стал уговаривать ее выйти за него замуж, хвастал, что земля его без конца и края, всюду горы золотого песка. Но она пугалась его жаркого дыхания, от которого сохла трава, опадали листья с деревьев. Она убегала от него к Кара-Холю подышать про-

хладой, освежить цветы на одежде. Тогда Злой Пустынник сказал ей:

— Я выслушаю до дна твой Кара-Холь, испарю все реки, питающие его, сожгу все живое вокруг!

Много дней и ночей бросался он на озеро, дыша огненными ураганами. Почекнула тайга на горах, высохли пастбища на лугах, закипела вода в речках и у берегов озера. Но с Кара-Холя поднялся густой туман, тучей накрыл все вокруг, загремел гром, засверкали грозовые молнии. Началась смертельная борьба между огнедышащими ураганами Пустынника и живительной влагой тумана. Пошел проливной дождь, охладил жаркое дыхание Пустынника. Обессиленный, побежденный, он улетел.

Сказка кончилась, но слушатели долго еще сидели, не шевелясь, не отрывая изумленных глаз от сказочницы. Она поднялась с коврика, улыбнулась доброй улыбкой и, ударив по бубну, ушла в юрту...

Дома дядя Сенги сказал Адавастаю:

— Сходи к соседу, спроси, нет ли у него лишнего серпа. У нас только три, а вас, молодых жнецов,— четверо. Приезжал человек из сумонного управления, приказал парням и девчатаам ехать на уборку проса для нашего начальника, чанги Чимит-Даржа. Так что завтра все вы поедете к нему дня на три на работу...

Баир вышел вслед за Адавастаем, вместе пошли к соседу. По дороге он сказал товарищу:

— Я не поеду. Мне нельзя попадаться на глаза начальству...

— Почему? Боишься начальников, что ли?

Пришлось Баиру, скрепя сердце, поведать о своей горькой участии:

— Не могу я туда ехать, не хочу больше сидеть в тюрьме на аркане. Видел, какие у меня руки? Я наврал, это не от болезни. Ты поговори с отцом, может, он не станет отправлять меня на жатву. Если он не согласится, я уеду от вас...

— Куда же ты уедешь?

— Мама говорила, где-то за горами есть русские деревни, наймусь в работники. Там-то, наверно, нету наших нойонов...

Узнав причину бегства Байра из дома, дядя Сенги с укоризной сказал ему:

— Что ж ты, парень, не рассказал нам про свои дела? Нехорошо так делать. Мы маленькие люди, обидеть нас любой начальник может, а если нойон узнает, что мы прячем тебя от него, то нас судить будут, палками изобьют, из юрты выгонят всю семью, отберут имущество, нищими сделают. Такой закон у наших нойонов. Тебе только одна дорога: уехать из нашей страны. Прими мой совет, поезжай к соседям-хакасам, там найдешь много таких же, как ты, беглых наших людей, они не дадут тебе умереть с голоду. Дорога туда идет через вершину Чаш-Тала, на добром коне можно через двое суток перевалить в хакасскую покать, в ихние реки. Поеzzай, не подвергай нас горю и несчастью. Не обижайся на нас. Твои родители так же бы поступили с моим сыном, если бы он сотворил то, что сделал ты. Такая уж наша бедняцкая жизнь.

Наутро собрали Байра в дорогу, снабдили продуктами, подарили переметные сумки, Адавастай отдал нож, а Тиме подвела своего верховика и, давая повод, сказала:

— Твой жеребенок еще слабый для большой дороги, возьми моего коня, а мне оставь своего.— Потом она печально поглядела ему в глаза и, взяв за руку, тихо спросила:— Теперь уж мы никогда не увидимся? А может, ты еще когда-нибудь приедешь к нам?

— Не знаю, Тиме, ничего я не знаю... Скучно мне будет без тебя...

Так они и простились — одними глазами.

До боли тоскливо одному ехать в темную ночь неизвестности, прощаться с каждой лиственкой, каждой березкой родного края, если никогда больше их не увишишь...

Первую ночь провел на старом заброшенном стойбище, от которого сохранились городьба, каменный очаг с кучей золы да высохшие остатки одека. Но все это напоминало о жилье, о людях. Потому Байр и ночевал там.

На другой день тропа вступила в горную тайгу,

где царствовали могучие кедры. Днем в тайге ехать не страшно и без ружья. Шумят вершинами лесные красавцы, поют птицы, звенят холодными струями горные ручьи, снуют по колодинам любопытные бурундуки. На ночлеге, однако, и опытный, но безоружный таежник не будет себя чувствовать спокойно.

Рядом с тропой на луговинке возле ручейка Баир привязал на аркан коня, а сам устроился под кроной поваленного бурей кедра. Было прохладно — чувствовалась близость снежных полей на перевале, до которого оставалось с полкилометра. Ночь выдалась тихая, ясная. Бесшумно носились в воздухе большекрылые летучие мыши, попискивал какой-то зверек. Проснулся от громкого фырканья коня, который в волнении бил копытами, переходил с места на место, натягивал аркан. Была уже полночь. Яркие звезды слабым голубым светом освещали луговину. Баир подошел к верховику, погладил по шее, стараясь успокоить, но тот продолжал хрюпеть и бить ногой по земле. Беспокойство лошади передалось и Баиру. Мурашки пробежали по спине: нет ничего хуже, когда не знаешь, откуда грозит беда...

Прошло несколько томительных минут. Где-то «ухнул» два раза филин, и опять все стихло. А страх усилился. Парень не выдержал, торопливо отвязал коня и повел на тропу. В этот момент с одного из кедров, с кошачьим визгом и криком, соскочили две громадные рыси и понеслись одна за другой по луговине ручья...

Страх прошел, а с ним исчез и сон. По крутому подъему тропа вышла на седловину перевала. Густая тайга осталась внизу. Редкий кедровый стланик разбросал длинные ветви по курумнику, по ослепительным снежным полям. Спустившись к небольшой речке, впадающей в Ону, Баир привязал верховику на прикол и лег досматривать прерванный рысями сон.

А в это время к тому месту снизу по речке поднимались два пограничника, о чем-то негромко переговаривались. Увидев лошадь, один из них, тот, что постарше, обращаясь к товарищу, сказал:

— Ну вот, Алеша, тебе с первого шага повезло:

смотри, транспорт обнаружили, теперь, гляди, и нарушитель где-нибудь затаился. А вон под кедрушкой и он лежит! — они подошли к спящему Баиру, присели возле него и закурили. — Пускай поспит, а мы с тобой покурим пока. Видать, заблудился парнишка, а может, опять бегунец, вроде тех, которых я поймал весной. Ну-ка, побуди его, Алеша!

— Эй, друг, пора вставать, поди, уж выспался! — громко сказал молодой пограничник.

Баира будто сама земля подбросила, он вскочил и, с ужасом глядя на незнакомых людей, прижался к кедру, бормоча в замешательстве: — Тыва кижи мен, тыва кижи мен...

— Ну чего перепугался, будто медведи на тебя напали?! Садись, поговорим, — улыбаясь, пригласил Алеша. — Ты говори по-русски, а то мы не поймем, чего ты шепчешь.

— Совсем зеленый парнишка. Ну-ка, Алеша, реши сам, что с ним делать. По-моему, это урянхаец.

— По правде сказать, не знаю. Мне кажется, тащить его на заставу нет смысла, все равно у нас никто не умеет говорить по-ихнему. Может, отправить его за перевал — и делу конец? А как твое мнение, Семен Нилыч?

— Ну, конечно! Чего ж мы будем нянчиться с этим младенцем, пускай едет к своей маме.

— Есть отправить к маме! — воскликнул Алеша. Он отвязал Баирова верховика, подвел к нарушителю границы и подал ему аркан. — На, друг, твоего иноходца, садись и поезжай во-он туда, — он махнул рукой в сторону перевала. — Понял? Давай, давай, садись и отправляйся восьсяси...

Испуганный столь неожиданным появлением незнакомцев в какой-то особой одежде, с красными звездами на остроконечных зеленых шапках, и поняв наконец, чего они от него требуют, Баир торопливо сел на коня и, не оглядываясь, заспешил на хребет. Перевалив через гору, спустился до первого ключа и в нерешительности остановился. Ему пришла мысль попытаться проехать в покать Оныnochью, когда те люди уедут...

До вечера оставалось еще порядочно времени, чтобы накормить на добром лугу коня и поспать самому. Он, конечно, не имел представления о работе пограничников и, посчитав встречу с ними случайностью, успокоился и благополучно проспал до темноты. С едой у него не было большой заботы: питался всухомятку копченой бараниной, творогом и прочими дарами тетушки Серенмы. На этот раз развел костерок, поставил на него маленькую походную железную чашу, сварил из брусничника чай.

Взошла луна. Кто видел при лунном свете горные цепи со снежными вершинами, тот не забудет никогда этих сказочных картин. Баиру было не до красот природы, одна мысль волновала его: как бы опять не встретились ему люди, как бы поскорее увидеть деревянные юрты хакасов, о которых рассказывал дядя Сенги.

Он вновь поднялся на хребет, спустился до того места, где его разбудили пограничники, и, никого не встретив, продолжал спуск в долину. Заголубело небо на восточной стороне. Близилось утро незнакомой страны. Тропа проходила среди стройных темных ельников; чем дальше, тем тесней они ее обступали. В узком месте, где она прижата лесом к речке, вдруг раздался окрик:

— Стой! Слазь с коня! — из-за деревьев вышел пограничник, схватил Баирова коня за узды. — Слазь, тебе говорят! — он ткнул перепуганного парня пистолетом в бок и столкнул с седла. Баир сделал шаг к лесу, но пограничник схватил его за руки и заорал:

— Ку-да! Пристрелю, как куренка!.. Пошли!

Оставив верховика, он повел едва живого от страха нарушителя. Минут через десять впереди мелькнул огонек. У костра сидели двое — пожилой бородатый хакас с охотничим ружьем и второй — пограничник.

— Принимайте гостя! — сказал державший за руку Баира пограничник. — Чуть было не упорол, пришлось под ручку взять...

— Откуда ты, парень? — спросил бородатый.

Немного успокоенный присутствием новых людей, Баир тихо ответил:

— Тыва кижи мен...

— Тувинский человек он, из Урянхая,— пояснил бородач. Обращаясь опять к Баиру, спросил на тувинском языке, куда и зачем он едет.

Услышав родной язык, тот вырвал руку у пограничника, подбежал к человеку с ружьем, припал к нему, как к родному отцу, заговорил быстро-быстро, боясь, что его снова схватят...

ЭПИЛОГ

На этом закончу рассказ о злосчастных мытарствах тувинского юноши, происходивших с ним в 1919 году, когда нойоны и прочие феодалы были еще безраздельными властителями Тувы.

Начальник советской погранзаставы, узнав историю «нарушителя», близко к сердцу принял его невольное сиротство, устроил на работу при заставе. Баир показал отличные способности: быстро освоил русский язык, и не только русский, но еще и хакасский и ойротский, потом — грамоту. Через два года он был оформлен штатным переводчиком при заставе.

Пограничники оценили деловые способности тувинского парня, полюбили его за искренний, веселый характер. Однажды начальник погранзаставы сказал ему:

— Тебе пора жениться, Баир. Невест в Таежной много — и хакаски, и русские, и даже твои родичи тувинки. Езжай, туда недалеко — всего пять верст, выбирай, какая понравится, а за тебя любая пойдет...

— Спасибо, товарищ начальник! — немного смущившись, ответил Баир. — У меня есть невеста. Я очень люблю ее, и она меня тоже. Мы с малолетства с ней друзья. Она спасла меня от неминуемой казни, развязала узлы аркана на моих руках, помогла мне бежать сюда. Я, товарищ начальник, никогда ей не изменю.

— Чего ж ты раньше не сказал? Мы давно бы устроили тебе поездку домой. А теперь это совсем

не трудно. Ты ведь знаешь, что и у вас феодалов лишили власти. Теперь тебе свободно можно съездить за невестой, повидать родителей. Пропуск мы тебе оформим дня через два.

Так потом и было. Вместе с Баиром поехал его старый знакомый, Алеша, больше всех старавшийся научить его грамоте. Пограничники снабдили их подарками для родителей жениха и невесты. Три дня гостили посланцы на Алаше, а когда вернулись, молодым на погранзаставе устроили торжественную встречу. Не сразу освоилась Тиме с новой жизнью в незнакомой стране, но добрые люди помогли и сделали все для ее счастья.

Вячеслав БУЗЫКАЕВ

МАРАЛЬЯ ШЕЯ

Повесть. Журнальный вариант

ДВОЕ

Зеленые исполины враз занимались ярким факелом и, как спички, сгорали за несколько секунд. Верховой пожар нещадно пожирал все на своем пути.

Двое полчаса назад чудом выбрались из самого лекла. Придя в себя и поверив в собственное спасение, каждый из них по-своему отнесся к этому.

Тот, что был постарше, снял с себя полуистлевший пиджак, подолом тельняшки устало вытер выпачканное сажей лицо. Сажа осталась, и лишь скучные слезы торили по ней светлые дорожки. Старик плакал, обратив обожженную бороду в сторону гибнущего леса.

Второй, помоложе, плашмя упал на землю. Да так, что старику стало больно. Он попробовал поднять товарища по беде, но сил на это не хватило. А тому, видимо, совсем стало плохо, задрыгал ногами, заревел, завозил руками по земле, стараясь как можно больше захватить травы в пальцы и выдернуть.

Если бы травы. Оказывается — и старик признал, наконец, это место,— они вышли к лесопитомнику. Травкой была сосновая поросль. Старик осторожно сполз в высокую какаву. Из нее он хорошо видел, как молодой все яростнее и яростнее выдергивал саженцы.

— Эй-ей! — прохрипел он, но тот и ухом не повел. Тогда пожилой человек медленно встал и осторожно тронул своего спасителя за плечо. Тот вскочил, как ужаленный.

— Чего тебе, рухлядь? Или думаешь, тронулся Галов, да? Как бы не так! Живу я! Понимаешь, живу, жи-и-и-и-ву! Где тебе понять это, сосновый угодник! Ты вот слезы льешь, Евтушков, а я радуюсь. И наплевать мне на тебя и твой говенний лес.

С этими словами Галов принялся ожесточенно выдергивать и раскидывать по сторонам народившиеся сосенки.

— Ах ты, балагур! — выругался Евтушков да и отвесил противному по нелепой округости. Знать, хорошо отвесил, ибо тот, неловко взмахнув руками, вновь упал навзничь, теперь уже не рисуясь и не пакостя. Тихо вздыхая, долго приходил в себя. А когда пришел, медленно поднялся, сначала на четвереньки, а потом в рост, неспешно подошел к обидчику и выразительно посмотрел на него. Евтушков выдержал полный ненависти взгляд, сказал тихо, но уверенно:

— Это тебе пока что за Маралью шею, балагур. Не забыл, небось?

Галов ответил не сразу, и, неожиданно сорвавшись на фальцет, пролаял:

— Словить хочешь? Этот номер тебе не пройдет! От пожара, знать, рехнулся, дак не тяни за собой других на темное дело. Знать боле тебя не знаю!

— Не забыл, — удовлетворенно подытожил егерь. — Да и как такое забыть? И сейчас Маралья шея слезами плачет. За что же вы так природу то сгубили? Скажи хоть сейчас, Галов, не бойся, никому не дам знать про твое признание.

— Ну и загнул ты, отец,— перешел на миролюбивые нотки технолог лесхоза.— Только знай, человека оболгать просто, да не просто потом людскую молву обойти.

И было сейчас два Галовых. Один мирно беседовал со стариком, скрывая за напускным равнодушием застарелую боязнь. Второй едва справлялся со своей ненавистью к этому большому и добруму человеку, добруму для соснового бора, но самому злому злому врагу для него, Галова Павла Ивановича.

Первый миролюбиво говорил:

— А ведь нехорошо, Евтушков, наветами заниматься. Ты ведь знаешь, кто старое помянет...

— Старое!— взорвался егерь.— Да у меня это старое вот тут сиднем сидит, в сердце самом, бала-тур ты эдакий!

— Ну, будя, будя,— успокаивал разошедшегося старика Павел Иванович, а сам опасливо косился на его кулак, таким вдарат — не скоро очухаешься. И еще что-то говорил Галов, особо не запоминая, что, а в памяти разом вспыхнуло давнишнее.

...Знатная охота получилась, на каждого по маралу досталось. Удача опьяняла, нехороший азарт сближал, делал всех троих в чем-то одинаково похожими друг на друга. Галов догадывался, в чем, но признаться себе боялся. Наверное, и те двое испытывали нечто подобное, потому что старались не глядеть друг другу в глаза, хоронились за напускной озабоченностью. Спилили рога, обрезали лучшие места у туш — много ли на «козле» уважешь? А что с останками делать?

— Волков здесь, говорят, развелось,— первым высказал догадку Галов, сходил к машине, вернулся с полиэтиленовым мешочком в руках. Ни слова не говоря, тыльной стороной ножа перерубил трубчатую кость марала, осторожно вскрыв пакет стрихнина, начинил им ее: А когда еще раз вернулся от машины с табличкой «Осторожно! Яд против волков», все совершившееся приняло оборот государственной заботы о лесе и его обитателях. Это вполне устраивало всех троих. О последствиях как-то не думалось.

Взрослые дяди порезвились и уехали в твердом спокойствии чисто сделанной работы. На третий день падаль учудили кабаны, сбежались к трупам животных и устроили пиршество — тут же свалились в агониях. Кровожадные сородичи и их сожрали, чтобы, в свою очередь, тоже издохнуть: страшный яд действовал безотказно. И на вторую неделю птицы, поклевавшие трупы, падали замертво. Маралья шея, местообиталище диких свиней, стало их кладбищем; несколько десятков семей, которых и волки не сумели вывести, разом сгинули по воле недобрых людей.

У Данилыча обход большой, лошади тогда ему не полагалось, не вдруг наткнулся он на злодейское дело. В другой раз его привлек бы вороний гомон, но и осторожная птица не минула роковой участки. Тихо стало в лесу, и скорее эта тишина в обычно оживленном распадке насторожила егеря, заставила ускорить шаги.

Кабан лежал прямо на тропе, подстерегая человека. Данилыч проворно скинул карабин с плеча, щелкнул затвором. Зверь и ухом не повел, и тогда как ненужную палку отбросил пожилой человек ружье, побежал мимо кабана, мимо второго...

— Что же это, а? — спросил себя беспомощно, но прежде чем собрался с мыслями, увидел табличку, лежащую на тропе. И разом все понял. — А-а-а! — заорал дико и пустился бежать от страшного места прочь. Если бы прочь, а то куда бы ни бежал, всюду, как наваждение, преследовали его трупы животных. Обессилел. Сел на поваленную недавней бурей сосну. Слизывал слезы с губ, не чувствуя их соленой горечи, и все повторял: «Так загубить...»

Собрал мужиков в поселке, верховыми привел их в распадок. Нарубили из осины волокушки, принялись свозить в одно место трупы. Вонь стояла жуткая, пока управились, пьяны стали.

Черный дым самой бедой клубился над Маральей шеей...

— Такие, брат, дела, — повторил спустя десять лет егерь.

— О чем ты, отец?

— Да так, мысли вслух.

«Ну и дурак! Мысли на то и даны, чтобы скрывать их. Попробуй-ка скажи тебе, что на душе лежит,— вмиг под суд подведешь». Галов осторожно потрогал синяк под глазом, было больно, но это обстоятельство странным образом успокаивало: «Огплатил он все-таки за многие пакости. Мала отплата, можно и больше терпеть».

Десять лет понадобилось Галову, чтобы осознать малую долю своей вины перед этим человеком. Десять лет назад пришел он к нему, тогдашнему райохотинспектору, на дом, спросил прямо: «Зачем Маралью шею сгубил?»

Струхнул тогда порядком, побежал к начальнику райотдела милиции, тестю своему Солинову, упал перед ним на колени: «Отведи беду от семьи!» Тесть пригласил следователя, старого своего товарища, долго о чем-то разговаривал с ним, и хоть в его квартире дело происходило, Галов не осмелился против обыкновения своего приложитьсь ухом к замочной скважине. Боялся выдать себя и этим все испортить.

Сговор состоялся. Отметили на радостях событие...

...А ветер повернулся в их сторону. Егерь рысцой побежал к противоположному краю питомника. Ему не стоило больших усилий оторвать пару досок от старого вагончика, через образовавшуюся щель пролезть внутрь. Лопаты были на месте. Выбрался с инструментом наружу и — бегом. Прокочил мимо Галова, вернулся, вручил тому штыковую лопату: «Айда за мной!»

Тот упираться не стал, нехотя зашагал вслед за неугомонным стариком. Без слов взялись копать канаву, отделяющую взрослый сосновник от питомника.

Дым повалил гуще, и дышать стало тяжело. Огонь приближался. Галов сдался первым, лег ничком на свежеоткрытую землю, затрясся в непрерывном кашле. Данилыч снянул с себя полуобгоревшую тельняшку, обмотав ею лицо до глаз, продолжал сдирать и откидывать далеко в сторону пластины дерна. В этой работе заключалась сейчас вся его жизнь,

он догадывался, что не хватит сил на задуманное и у двоих, но лопату не бросал. Напарник поднялся и медленно побрел прочь, не переставая кашлять. Его никто не стал догонять. На это у егеря не было сил. Евтушков задыхался, но копал, удивляясь, что еще способен держать лопату в руках. Потом мир потерял для него очертания...

— Да погоди ты, отдохнись малость,— пробовал удержать старика Павел Иванович, но тот упорно отмахивался, стараясь подняться на ноги. Ему это плохо удавалось. Все же поднялся, пошатываясь, пошел туда, где горело, трещало, разыскал лопату, вновь начал копать границу между жизнью и смертью. По правую руку, в нескольких десятках шагов от него, бушевала смерть. По левую — пугливо зеленела молодая поросль. А сам Данилыч был где-то посередине между жизнью и небытием. Время остановилось для него, в висках пульсировала обманчивая мысль, что, наверное, пожар уже остановлен и можно будет немного передохнуть. Но Данилыч знал, что это не так, и продолжал твердить про себя: «Не дам мальцам погибнуть...»

Рядом вставали его друзья, подбадривали: «Не дадим, Данилыч!» Вот строго сдвинул брови учитель Мелюгин, отобрал лопату у Галова, заглубляет ее по самый черенок в сухой дерн, аккуратно переворачивает пласт на бровке канавы.

Его сменяют по очереди лесничий Власычев, Сенька и другие члены школьного лесничества. «Не отдадим питомник злодею!» Чудится, Нюрка, соседская девчонка, требовательно рвет черенок из рук егеря. Не отпускает его Данилыч: «Ты-то как здесь оказалась, не женское это дело — с огнем воевать». Нюрка не отступает, перехватила у кого-то лопату, ковыряется рядом. «Ну вот и ладно, вот и ладно,— подбадривает себя старик,— сообща любую беду одолеем».

Не видать Данилычу, что, почитай, все взрослое население окрестных деревень встало на защиту леса. Вся техника, какая есть в совхозах, стянулась к бору, плугами, скреперными и экскаваторными ковшами, бульдозерными лопатами тянет канаву,

длинной петлей свежевспаханной земли охватывает стихию. В дело пошли мотопилы, топоры, лопаты. Со стоном валятся вековые сосны, в глубь леса уходит широкая просека — шлагбаум верховому пожару.

Все, как один, приняли беду на себя, встали на защиту соснового бора, изумрудного ожерелья на груди земли, светлого дома зверей и птиц.

Данилыч не видел этого, но был уверен: люди отстоят бор. Задыхаясь, падая и вновь вставая, тянул свою самую главную межу в жизни: «Не дам мальцам погибнуть!»

Галов помог ему докопать канаву до конца, оттащил разом обмякшее тело старика в сторону. Здесь можно было через раз глотнуть свежего воздуха. Данилычу через раз было мало, и он долго не приходил в себя. Застонал, его стало рвать, в перерывах между приступами спрашивал Галова:

— Спасли?

Тот успокаивал его:

— Спасли.

Старому человеку казалось, что недруг теперь смотрит на него как-то иначе, с удивлением или восторгом. Но додумывать наблюдение не было ни сил, ни желания: в голове гудело и стонало, будто там занялся невидимый пожар.

ЕГЕРЬ

Еще сегодня утром, три часа назад, егерь жил в спокойной уверенности человека здорового и не просто здорового, а налитого, будто ядреный сосновый бор, сильными соками земли.

Впервые за много лет Семен Данилыч почувствовал себя свободным. Забытое ощущение покоя радовало, наполняло тело и душу праздником, делало причастным ко всему, что замечал ленивый глаз, слышало нечуткое ухо.

Вот три муравья тащат большого черного жука, тот не упирается, то ли притворился спящим, то ли парализован укусами маленьких разбойников. Двое из них ухватились передними лапками за жертву, пятясь, увлекают ее за собой, третий толкает жука,

словно шар. Работа продолжается споро, с короткими остановками. Стоп! Неожиданное препятствие поначалу приводит в волнение глянцевито-черных работяг, они бестолково бегают взад-вперед. Егерь не спешит переставлять сапог в другое место, ему любопытно, что будет дальше с муравьями. Вот один из них вскарабкался на порыжевший носок обувки, пересек его, проворно спустился на землю по другую сторону сапога и, отыскав невидимую людям муравиную тропу, тем же путем вернулся назад, к терпеливо ожидающим собратьям. Шевелит усами, оглаживая ими головки помощников, то ли успокаивает их, то ли возбуждает в них желание новой работы. «Раз-два, разом!» — должно быть, подал команду старший и первым полез на крутизну возникшего на их пути препятствия. «Раз-два, разом!» — принял тихонько подавать команды лесным труженикам Данилыч и удовлетворенно хмыкал, когда те беспрекословно и точно выполняли его команды, уверенно продвигаясь вперед.

Легкий ветерок коснулся лица егеря. В другое время Данилыч разом встрепенулся бы от постороннего запаха, но, увлеквшись работой муравьев, он лишь подсознательно отметил про себя что-то не совсем ладное. Однако толчок извне уже был, и сознание стало потихоньку раскручивать клубочек мыслей.

— Что бы это значило? — вслух спрашивал себя егерь между командами неунывающей тройке. — Раз-два, разом!.. Если рабочие питомника жгут хворост, так... Аха, аха, молодчаги, вскарабкались!.. Так рано жечь, до вечера еще не близко, да и синоптики могли ошибиться насчет заморозков. Может, с села донесло запах гари? Людям, как и муравьям, не до отдыха, в первый после сева выходной подметают дворы, жгут мусор...

— Ну, куда ж ты? — не удержался Данилыч и уже хотел было поправить одного из усачей, но вовремя отдернул руку: сам сообразит. И верно, отставший от иоши муравей вновь отыскал ее и принял за работу, почти всегда угадывая команды человека:

— Раз-два, разом!.. Что бы это значило? — вопрос уже громко потревожил устоявшуюся вокруг тишину, шершаво коснулся сознания. Евтушков вскочил на ноги, краем глаза успев заметить, что муравьи сползли с сапога и устремились к возвышавшемуся у соседней сосны холму-домику.

А ветер уже явственно доносил запах гари. Над соседней сопочкой дрожало, колыхалось призрачное марево. Обычное весною, когда прогретая солнцем земля возвращает небу лишнюю влагу, марево это насторожило егеря своим несоответствием теплому июньскому дню. Несообразностью тому распорядку, который хорошо известен человеку, знающему природу не по рассказам бывалых людей, а по тому простому обстоятельству, что природа давно заняла собою всю его жизнь, а сам он ощущал себя лишь ее крохотной частичкой.

«Пожар!» — вымолвил враз побелевшими губами Евтушков и бросил собранное в комок тело вперед. Он бежал изо всех сил, но никак не мог освободиться от ощущения, что топчется на одном месте, и все торопил себя: «Только бы успеть, успеть бы...»

И пока ноги бежали, голова лихорадочно соображала. После того как растаял снег, на землю не упало ни дождинки, последние десять дней красные жилки термометров настойчиво лезли вверх, подбираясь к отметке +35 градусов. Такого сухого начала лета старожилы не помнили. При встрече с егерем заботливо качали головами: «Вёдро. Гони шпану из лесу, не ровен час — набедокурят. Искры из глаз достаточно, чтоб огню заняться».

Данилыч мотался на своем Сивке денно и нощно по сосновым увалам, два раза усмирял огонь в самом начале. Добро бы подростки баловались, а то ведь свой брат мужик, рыбачивший по Соинке, оставлял незатушеными ночлежные костры.

Но этот увал был далеко в стороне от Соинки, рыбаку здесь делать нечего. Беда! «Только бы успеть, успеть бы...»

И успел бы Данилыч. Вот он уже хлещется с огнем в самом его бойком месте, заставляет его отступать, укорачивать свои длинные языки. Но

один из них подхватил налетевший порыв ветра, бросил вверх к кронам могутных сосен — вмиг занялись они факелом. И пошел, поскакал огненной белкой по бору верховой пожар. Истлевшим пиджаком его не остановишь, нужен топор. Да где его взять? Кто же пойдет в первый пенсионный день с топором в лес? Данилыч в лес пошел с форменкой в руке.

Передал присланному из управления пареньку (институтский «поплавок» победно сиял на лацкане пиджака) свои дела. А на следующее утро Данилыч пошел в светлый, горевший медью стволов, любимый лес. Шел, увлекаемый разлапистыми красавцами, забирался все дальше и дальше, в глубину зеленого царства, пока не притомились ноги. Опустился на траву, нашупал поудобнее спиной щершавый сосновый бок, наслаждаясь полуза�отым отдыхом, с головой окунулся в тихую радость бытия и собственного невыдуманного праздника.

И уже в который раз подивился, как это он мог раньше существовать без красавца-бора, вечных егерских забот и вот такого праздника, который может случиться с каждым рабочим человеком. Тело наливалось приятной тяжестью, голова — воспоминаниями.

Может, это было вчера, а может, и два десятка лет назад, только ясно помнится, как он, Евтушков, бывший фронтовик, скромный счетовод по профессии, даже закашлялся от неожиданности, когда в райисполкоме ему предложили место егеря в сосновом бору. «Уж не разыгрывают ли?» Нет, кажется, не шутили.

— Мы не торопим, подумай, а завтра скажешь.

Ничего себе, не торопят! Всю ночь и так и этак прикидывал Евтушков, но не мог свести концы с концами. Под утро все же решил: «Откажусь, здоровье не то, чтобы за браконьерами гоняться».

Сказано — сделано, раскрыл было рот о решенном, но с языка сорвалось иное:

— Ежели боле некому, то, что же, мы согласны.

— Ну вот и прекрасно, стало быть, и принимай, не мешкая, дела.

Так Евтушков нежданно-негаданно стал егерем соснового бора. «Хозяйничай», — сказали ему, вручая форменный китель в охотуправлении. В двух словах рассказали о его правах и долго перечисляли обязанности, ссылаясь на параграфы и пункты положений. Одно запомнилось: «За все беды с тебя спрос, так-то вот...»

...Новая беда навалилась на бор. Евтушков разом оказался в огненном кольце. Выдержки хватило, чтобы не броситься сломя голову сквозь огонь. Припомнил свой бег: ага, речка Соинка сейчас с правой руки, к ней и гонит ветер пожар. Сзади, в трехчетырех километрах, шоссе; выходит, он где-то около Заячьей гряды, которая прямо по носу.

Рос на ней когда-то осинник, погрызли кору длинноухие, лес захирел, а в один из пожаров, вызванных грозой, и вовсе исчез. Образовалась лысая подкова на краю соснового леса. Старожилы Балгазына называли это место по-прежнему Заячьей грядой, а ребятишки, давно окрестив его Лысой горой, устраивали на ней свои бесконечные баталии. Евтушков настоял, чтобы пустошь распахали и засеяли семенами сосны. Так появился лесопитомник, а хозяином его стала красногалстучная пионерия.

В направлении к питомнику и побежал Евтушков, оберегая глаза от огненного смерча. Потом их почему-то стало двое. Вторым оказался технолог лесхоза, он и вытащил на себе из огня потерявшего сознание егера. Туда, где в ожидании беды остановилась в росте трава, пугливо зеленел молоденький сосняк, не журчал в высохшей канаве ручей.

Придя в себя и размазывая по лицу сажу, Данилыч заплакал от собственного бессилья. На его глазах погибала красота земли. Потом он нашел в себе силы взять лопату и копать, копать — ради будущей красоты.

КРАСНАЯ И СИНЯЯ ТЕТРАДИ

В год гибели Маральей шеи завел егерь эти тетради. В Красной Данилыч записал факт гибели кабанов. Этим он хотел предупредить людей: «Стойте, куда вы идете?! Против себя, на погибель свою

идете! Одумайтесь, если хотите остаться Человеками!»

Синяя была пуста. В ней предполагалось записать все то, что балгазынцы сделают на благо окружающей среды.

«Книга жалоб природы» и «Книга благодарностей природы» — так Данилыч окрестил свои тетради. И все здесь было просто и ясно. В книге жалоб первым врагом природы значился Галов, с дружками погубивший Маралью шею. И теперь в новом своем обличье — технолога лесхоза он губил красоту соснового бора, реликтового, самого южного в Сибири бора. Да только что ему до этого?! Ему подавай сосну пиленую, сосну струганую, побольше подавай ее, мягкую да податливую, — легко с нею план выполнять по ширпотребу.

Вот и сейчас он не удержался, поддел старика:

— А знаешь ли ты, Евтушков, сколько человек за свою жизнь сосны изводит? Не менее трехсот деревьев. А теперь прикинь, сколько народа в одном лишь нашем районе, выходит, не один такой вот бор истребили.

Знал, куда метить, аж в лице переменился старик:

— Это как так истребили?

— А вот так! Шифоньер им нужен, тахта нужна, синтетику разную подавай людям, а ведь все это из дерева. Теперь любую безделушку отделяют древесиной, самой ценной, учти. Пол и то норовят плиткой деревянной выстлать, в столовых интерьерах под дерево. А где его, дерева-то, напастись? Вот и залят лес где можно и не можно.

Ты вот все о боре печешься, а кто-то, может, уже подсчитал, сколько из него выйдет двуспальных кроватей. Подсчитал, что мебелишкой можно завалить всю республику, если сосновый бор под корень пустить, и не нужно-де будет завозить ее из-за Саян. Э-ко-но-мично! А экономика — наука твердая, решительная, и наплевать ей на твои переживания, на то, что ты ночами не спишь, охраняя бор. Экономика умеет убеждать кого угодно — и вот уже заложен в государственный план твой сосновый лес до по-

следнего кустика: на двуспальные кровати его, бор! А план тот, известное дело, лесхозу спустят, ну а я тут как тут. Так-то вот,— злобно укусил старого человека оратор.

— Ну, это ты загнул! — еле сдерживал себя Данилыч.— А заказник как же, а косули и прочие звери — куда? Аль по пастбищам прикажешь их пасти, как мелкую скотину какую? Нет, балагур, брешешь, не бывать по-твоему. Да и бора тебе не видать, как своих ушей. И без того изрядно напакостил в нем.

Поставил егерь точку в споре с противником, а у самого из головы не выходит галовская речь. Да и в Галове одном разве дело? Сколько тайги повывели окрест! Взять тот же Шуурмакский лес, что от него осталось? Рожки да ножки. А ведь еще десяток лет назад казалось, что не убудет он никогда. Без расчета рубили. Сколько молодняку под гусеницами погублено. А сохрани подрост — сейчас он уже был бы хорошим лесом.

«А вдруг и вправду до соснового бора очередь дойдет? — Данилычу даже холодно сделалось от одной этой мысли. — Да нет, не сделают такой ошибки, не сгубят такую красу. Экономика, она тоже наука умная, все до последнего фитонцида в воздухе учитет, подсчитает, сколько больных туберкулезом исцелил сосновый бор, сколько знатных урожаев хлеба помог вырастить окрест, сколько радостей принес людям и еще принесет правнукам — ни в какое сравнение со всем этим не идет твой ширпотреб, Галов!»

Так успокаивал себя Евтушков, однако смутная тревога, раз коснувшись сердца, уже не уступала места иному настроению. Получается, что и он тоже около трехсот исполинов сгубил. А что вернул природе? Ну, предположим, с пионерами лесничества он и вернул кое-что. Но ведь во многих других местах, где природа несет большие потери, нет, наверное, и этой малой отдачи. Зато есть бесшабашность — одно из качеств, отличающих человека от остального животного мира. Бесшабашно машут рукой: Сибирь, мол, большая, лесов в ней много,

хватит на всех. Когда еще дело до всемирной пустоши дойдет?! А пока — руби, вали ее, родимую, в шуурмакских местах, ухнем ее, красавицу, в ырбанских лесах, окрутим ее, зелую, на последних чербинских делянях! А там хоть трава не расти!

«Куда ж потом существам малым деться? Той же дикой козе, сильному сохатому, зайцу серому, птахе певчей, сове глазастой?..»

...И вновь тычется в бок горячим носом дикая коза, безъязыко умоляет человека спаси детеныша. «Ведь ты не раз охранял меня от беды. Неужто не в силах отвести ее сейчас от моего крохаля? Ведь ты все можешь, человек!»

Как живая, стоит дикая коза перед глазами егеря, стройная, золотистая, черноокая — сама богиня соснового бора. И в глазах старика копится, хлещет через край тоска-печаль. Если бы можно было той печалью залить лесной пожар!

Беспомощен человек против него, когда один.

...Огонь дважды норовил перепрыгнуть через вырытую лопатами канаву, одним махом сгубить то, что было взлелеяно ребячими руками в течение нескольких лет. И тогда Данилычу казалось: ярким пламенем вспыхивала одна из скучных строчек Синей тетради: «Заложен лесопитомник на площади пять гектаров». Струка будто вспыхивала в самом сердце, и оно, опаленное тем огнем, начинало быстро-быстро трепетать. Удушливый ком подступал изнутри к горлу, Данилыч жадно глотал ртом воздух, но никак не мог протолкнуть ком назад. Потом удушье отступало, сердце переставало жечь в груди: обгорала по краям, но стойкой оставалась в Синей тетради заветная строка. Под напором двоих огнь неохотно отступал назад, собираясь для нового броска на нежно зеленеющий сосновый подрост.

«Как под Смоленском», — вспомнились егерю далекие годы, далекие фронтовыми буднями, но невероятно близкие сейчас характером борьбы не на жизнь, а на смерть. «Или ты — нас, или мы — тебя, гадина!» И тот первый убитый им фашист, который невероятно долго целился в него, и этот огонь, коварно поджидающий удобного момента, чтобы сжечь

все живое на своем пути — оба они стояли сейчас по ту сторону. Оба метили в Данилыча смертью. Он тогда выстоял вместе с тувинским пареньком Баир-оолом, хотя давно уже был дан приказ об отступлении батальона. Приказ не дошел до оставшихся в живых, и они продолжали отбиваться от наседавшего врага. Отбились...

Отобываются и сейчас, уверял себя старый егерь. Твердая решимость выстоять прибавляла ему силы, всякий раз заставляла отступать боль.

«Или ты — нас, или мы — тебя!» Знакомая формула борьбы. Правда, порой она принимала невидимый миру характер. Таким был и поединок Данилыча со сворой браконьеров. На какие только ухищрения ни шли они, стараясь убрать с дороги неугодного им егера соснового бора, а он все выходил победителем. Порой браконьеры недоумевали, как это ему удавалось.

В ТОТ ЗИМНИЙ ВЕЧЕР...

Мороз набирал силу, когда он на Сивке, запряженном в сани, выехал по дороге, ведущей в глубь бора. За спиной вставала большим медным тазом луна, сани мягко скользили по недавно выпавшему снегу. Сивка шумно дышал, клубы пара круто плыли вдоль саней, оседали на полушибке, бороде ездока сверкающими блестками, со стороны глянешь — дед Мороз объезжает собственные владения. Чутко спали лесные исполины, порой кто-то из них тихо вздрогивал во сне, и тогда с разлапистых ветвей неслышно струился вниз серебряный ручей. Под один из таких угодил седок, задрал бороду кверху — будто умылся живой водой, сонное настроение вмиг улетучилось. Захотелось встать в полный рост, гикнуть на лошадку, погнать ее во всю прыть по за-снеженному, чудному бору, спрыгнуть на всем ходу, как в детстве, на обочину дороги и легко бежать рядом, упруго запрыгивая в сани, и вновь оставляя их; фуфайчонка наполнилась воздухом, взлетела вверх черным крылом, и вот Сенька уже почти парит над землей, смеется звонко, и нет сейчас счастливее его на всем белом свете. А вместе с Сенькой,

удало заломив белую папаху набекрень, гикает, хохочет, несется в лунную даль сам добрый моло-дец — зеленый бор. И отступил куда-то дедушка Мороз, не угнаться ему за мальчишкой и добрым молодцем. Э-ге-гей!..

Заворочался в санях седок, уламывая собственное нетерпение, уговаривая себя не чудить в час важной работы. Едва уговорил, и вовремя. Впереди, меж стволов, заискрился, заметался белый свет, будто щупальцы, выбросил по обе стороны от лесной дороги ослепительные лучи. Высматривает осьминог жертву в чащобе, и беда, если нащупает ее — встанет косуля, завороженная ярким лучом, упадет под выстрелом, роняя на белый снег алые искры крови.

«Лучат, балагуры!» — выругался егерь, разворачивая сани поперек дороги. Снег по сторонам глубокий, ни проехать, ни пройти хищникам.

Его заметили. Враз потухли фары машины, горят лишь одни подфарники, мотор лениво урчит на малых оборотах, но в его лени чует егерь затаенную угрозу. Однако с дороги не сворачивает. Быстрым движением ладони отер с бровей заиндевевые сосульки. Повелительно поднял руку: «Стой!»

В лицо ударил ослепительный сноп огня, взвыл мотор, машина на полном ходу подмяла под себя сани. В последний миг Данилыч невероятным прыжком в сторону успел-таки избежать роковой встречи. Рванул с плеча карабин, выцелил убегающее колесо и... осторожно опустил дуло вниз. Всего лишь позавчера егерь получил приказ из охотов управления: «По технике браконьеров не стрелять ввиду рикошета пули и человеческих жертв». На таком морозе невозможно пробить колесо автомобиля без риска для жизни людей.

Данилыч отвязал постремки от ненужных теперь оглоблей, повел в поводу Сивку по колесному следу. Уже не кипел, а лишь с сожалением покачивал головой: «Из-за худой козятины готовы человека жизни лишить, балагуры!»

Как и ожидал, машинный след, изрядно попетляв по лесным дорогам, вывел на большак. Нака-

тана трасса Кызыл — Эрзин, ищи теперь ветра в поле.

Догадывался Данилыч, кто затеял с ним опасную игру: так хорошо знать Балгазынский бор мог лишь один человек — бывший его егерь, нынешний технолог лесхоза Галов Павел Иванович. Да ведь не зря говорят: непойманный — не вор. А бор не знал людского языка, не мог подсказать егерю, где скрывается их общий враг.

...Приветливо загудел звонкими стволами сосновый бор, радуясь возвращению с фронта родного человека. Но слышится Семену Данилычу в шуме леса мрачная песня, настороженно оглядывается он вокруг, и недоумевает природа, что это с ним стало.

Поговорить бы им по душам, да не спешит вы сказать боль и радость свою бывший **фронтовик**, не знает, как поведать о себе и вековечный бор. Чужими глазами смотрит на него Данилыч, и горько прячется в песчаных увалах непризнанный лес.

Может, потому и случилось тогда несчастье в Маральей шее. Не раскрыл свои объятия человек, затаила обиду природа, не подняла его по тревоге в тот жаркий июньский день, когда трое, и среди них бывший егерь соснового бора, совершили злодейство.

«А-а-а-а-а!» — дико заорал тогда Данилыч, бросившись прочь от страшного места, и этот крик резанул по сердцу соснового бора, светлыми каплями смолы выплачали исполины горе, разделенное близким человеком. Признал-таки Сенька-Семен родные места...

Сколько раз потом просыпался в поту Семен Данилович, преследуемый кошмарами Маральей шеи. Казнил себя, что поначалу с недоверием отнесся к бору, ставшему для него бережной колыбелью детства, старшим другом юности, родителем, проводившим на битву со смертельным врагом.

А теперь они были почти ровесниками: столетний сосновый бор и пятидесятилетний мужчина. Передал человеку малость своей богатырской крепости лес, отошли от него болезни, затянулись фронтовые раны, помолодел он и уже задорно похлопы-

вал по шершавому боку какого-нибудь исполина: «Ну что, старина, силенка-то пока что есть?»

Потому-то и не сдался в невидимой борьбе Данилыч, что питал его силой бор, что не мог человек изменить старому другу, как не мог когда-то предать соседа по окопу.

Были и письма, написанные печатными буквами. Анонимки: «Если хочешь жить, оставь бор. Не мешай нам немногое брать от него».

«Немногое!» Балагуры и загубленную Маралью шею считали немногим. «Ну уж хрен вам пройдет!» — стискивал зубы Евтушков.

...Его долго таскали по подозрению (прямому навету Галова) в использовании сильно действующих ядохимикатов в корыстных целях. Балгазынцы не дали своего человека в обиду, написали коллективное письмо в райком партии. Комиссия долго разбирала балгазынское дело, в конце концов признала Евтушкова невиновным. Не было у нее и фактов отдать под суд Галова, но должности райохотинспектора его лишила...

«БАЛАГУР»

«Куда ни кинь — балагур. Ушел в лесхоз зряплатной должности искать. И нашел ведь. Вновь на прямую наводку к природе вышел, вновь расстреливает ее».

Вспомнилось давнишнее. Как Галов покровительственно похлопывал по плечу новоиспеченного егеря при передаче дел: «У бора можно поживиться. Надеюсь, отец, найдем общий язык, а?» И не столько спрашивал, сколько утверждал: найдем!

Не нашли. В первый же приезд Галова — «Побаловаться вот решил, разговеться дичью» — Данилыч строго свел брови к переносице: не положено.

— Ату его! Да ты в своем уме, отец?

— В своем. Не сезон, не положено зверя пугать.

И как Галов ни уговаривал строптивого егеря, тот не уступил...

— Послушай, Галов, — впервые по фамилии обратился Данилыч к напарнику по беде, — никак не могу уразуметь, зачем ты против природы идешь?

Человек ты грамотный, до культурного лоску доведен, в обществе, вроде, не сбоку, на виду, а как попал в таежку, враз с тебя вся культура слазит. Будто и не ты час назад всерьез обсуждал с людьми, как эту самую таежку уберечь от разорения. Этакое-то балагурство как человек в себе терпит?

«Глуп, как тополиная пробка, а туда же — философствовать. Голова у тебя, Евтушков, в одном направлении сориентирована, как у сосны твоей — на север, подальше от себя и личного благополучия».

Вслух же раздумчиво произнес:

— Пустые слова говоришь, отец. У каждого свое хобби. Вот ты, к примеру. Ведь хлебом тебя не корми, дай браконьера за руку схватить. Тогда цветешь и не пахнешь, рад-радешенек, что охранил природу от разбоя. А простой истины понять не можешь, что на хищниках природа держится, неважно, двуногие они или четвероногие, летают или пешком по земле ходят. Главное, кому-то надо в природе равновесие поддерживать. Много, к примеру, в своем бору волков стало — выведи пяток семейств. Мало их — убавь косуль в лесу. А сам не можешь, так другим не мешай. Так вот мое хобби и есть равновесие в природе поддерживать.

— Поддержал уже! Вывел кабанов в Маральей шее — раз. И это еще не весь урон природе. Кабанов, тебе известно, называют санитарами не зря. Так вот после того случая через два лета захирел лес в распадке, видимо-невидимо развелось гусеницы, потерял крону сосняк, пожух — два. Пришлось на дрова спилить, выкорчевать останки, а уж потом молодняк из других мест пересадить. Все лето ребятня из школьного лесничества работала. Равновесие! Ворон и коршунов повывел. Грызунов потом развелось тьма-тьмущая, всю поросль сосновую окрест погрызли — три. А сколько сосняка сгубил бензопилой под видом санитарных вырубок? Четыре! Еще перечислять твоё хобби или достаточно?

— И вновь ты кружева плетешь, отец. Сам в них путаешься, и меня за собой тянемь. Зря ты это все! Ведь если бы я хотел отомстить, разве потащил бы тебя сквозь огонь. Стукнул бы чем покрепче по

чердаку да и подкинул в огонь, где пожарче. Кто бы нашел тебя? В головешку, в пепел превратился бы.

Данилыч вздрогнул: а ведь мог бы! «И впрямь, наговариваю на мужика».

Долго молчали, каждый думая о своем и не подозревая, что продолжают начатый спор. Оба несказанно удивились бы, прозвучи их мысли вслух, настолько логичен был их неслышный диалог.

Галов: «Каждый в природе кого-то ест, и в обществе этот же закон действует. Мудрый закон! Не будь его, безвольным стало бы общество, одрябли бы его мускулы, и никакая свежая кровь не помогла бы. Нет, нужны обществу люди энергичные, мыслители ему нужны! Тогда и исполнители найдутся образцовые, вроде евтушковых. Дай мне власть, уж я бы научил их природу любить».

Евтушков: «Равновесия ему захотелось, балагуру! Бодливой корове бог рог не дает».

Галов: «Нет, нет, я бы не мстил евтушковым, слишком это мелко и нерасчетливо. Я бы их заставил все пустоши засадить лесами, чтобы не дяди и тети, а сами, собственными руками и серым веществом доходили до дела. Небось, взвыли бы сразу!»

Евтушков: «Натура у тебя не та, не терпишь, чтобы красивее тебя жили, грязью норовишь обмануть того, кто в чем-то обошел тебя. Завистлив ты до уродства. Не спорь! Ведь ты потому и пакостил мне, что я лучше тебя поставил дело в Балгазынском бору, добился, чтобы сделали его заказником. Завидки тебя брали, и из зависти черной устроил погибель-пирушку в Маральей щее».

Галов: «Конечно, заставь кто меня бескорыстно природе служить — в рожу тому наплюю. Ты меня заинтересуй, дай мне полные права, позволь мне собственной головой соображать, не регламентируй в мелочах, а строго спрашивай за конечный результат, тогда увидим, кто полезнее для общества: евтушковы или мы».

Евтушков: «Нельзя тебе власть доверять, против людей используешь ее».

Галов: «Неважно, как я стал бы использовать

права, кого ущемил бы, а кого к небесам вознес. Важнее хозяйственный результат, по нему и суди, насколько я эффективно использую свои права».

Евтушков: «В сущности, галовы никогда не переводились. И в каменный век норовили кусок по-лакомее оторвать, и в атомный готовы ближнему горло перегрызть ради собственной выгоды. Это галовы сгубили около трехсот видов млекопитающих на земле, из-за них еще столько же находится на грани исчезновения. Это галовы же вели чрезмерный выпас домашних животных, превратили пастбища в пустыни. Это галовы распахали где можно и не можно земли, выжали из них все, а потом бросили на растерзание бурям и воде. Это они сидят сейчас на должностях защитников окружающей среды, создают видимость кипучей деятельности, а, между тем, на их глазах реки, озера, воздух засоряются отбросами промышленности. На словах галовы за охрану природы — на деле они ее самые ненавистные враги. И если уберечь бор для тех, кто будет после нас, то надо уберечь его прежде от галовых».

Галов: «Дай тебе волю, отец, так ты со свету сжил бы меня и не подавился. Угодник сосновый! Ведь если бы нас, галовых, не было, зачем тогда и все вы, евтушковы? Ловить, и то некого стало бы, бороться не с кем. За собственной тенью, что ли, тогда охотились бы? Как бы она, чего доброго, не помыслила расстаться с вами да не навела карабин на косулю в неурочное время».

Евтушков: «Балагур ты большой, и в крови твоей балагурство, Галов! Как заяц, по свежей пороше петляешь, петляешь, а все одно — боишься меня. Из-за боязни и козни строил. И когда потравил кабанов, и когда лучил в таежке декабрьской ночью, и вот теперь, когда поджег сосновый бор. В отместку мне, что отобрал его у тебя, не дал перевести лес на твой ненасытный ширпотреб». Последняя мысль пришла сама собой, как логическое завершение длинной цепочки преступлений Павла Ивановича против людей и природы. Данилыч даже напугался ее нелепой откровенности, вскочил на ноги и

как-то по-новому глянул в лицо лежащего на спине Галова. Того озадачило поведение старика, даже сел, тревожно спрашивая:

— Еще в чем хочешь, отец, обвинить меня?

— Да так, показалось мне...

— А если не секрет?

— Какие теперь могут быть секреты? Показалось мне, что не к добру ты очутился рядом с пожаром. Что тебя в бор привело, скажи на милость?

«Сейчас, разевай шире рот, шелуха сосновая!»

— Бор у нас общий, ты и я — оба живем возле него. Что ж, мне и подышать теперь нельзя в бор зайти?

— Ну и как?

— А то не знаешь, как? Вот как! — показал Павел Иванович на синяк под глазом и опухшую от ожога левую руку. Знать, не уберегся, когда боролся с огнем.

И ОГОНЬ ОТСТУПИЛ

Чего-то боялся додумывать Галов, не хотел признаться себе в чем-то. «Ты — человек дела, — убеждал он себя. — А значит, плевать тебе на эмоции. Пусть рукодельем этим занимается выживший из ума Евтушков, ему сподручнее».

Однако желанная гармония тела и духа не приходила, кто-то полузабытый потихоньку бунтовал внутри, ласково уговаривал выпустить наружу, дать ему, сердечному, расправиться за многие годы жизни в скрюченном состоянии. «Не хватало мне еще джинна внутри! — тревожился Павел Иванович. — Выпусти его, так и жить не захочется».

Все же догадывался: ворочается в нем проснувшаяся совесть. И разбудил ее вот этот старикашка с молотом вместо рук. Опухоль под глазом не спадала. И опять обманывал себя Галов. Синяк тут был ни при чем. Егерь взял иным — большой добротой, чудом, которое свершилось на его, Галова, глазах. И этим чудом был спасенный сосновый питомник. Им, Галовым, спасенный! Впервые в жизни он не думал о себе. Хватает на стороне свежего воздуха и опять — за тяжелую лопату. Не верил,

что управятся с работой, и все же не бросил ее. Оттаскивал старика в сторону, чтобы отдохнул, а сам снова брался за лопату.

Была минута, когда тяжело разогнулся спину, отшвырнулся в сторону ненужный инструмент, зашагал через питомник к синеющим вдали отрогам Танну-Ола, где не было огня, где можно было приступить губами к холодному ключу и пить, пить...

Встал, пошатываясь, старик, и Павел Иванович, как завороженный, снова пошел вслед за ним — все дальше от заветного ключа, все ближе к огню.

...Смертельная усталость прошла — пришло изумление: «Полноте, да неужто это на моих ладонях кровавые мозоли? Не бред ли это?» Нет, не бред, больно было не чужим ладоням. И Галов тихо и счастливо засмеялся.

Давно он так не смеялся. А то все по заказу, в удобный момент, когда приветливая улыбка и звучный смех были кстати. Создать мнение, что ты самый жизнерадостный человек на свете, хотя, может, на душе кошки скребут, — такое было под силу Павлу Ивановичу. Веселый человек — нравственно здоров, энергичен, работоспособен, ему можно доверить любое дело — вот и вся галовская формула борьбы за место под солнцем.

Сейчас ему не нужно было производить впечатления, он смеялся потому, что не мог не смеяться. Давно он так не смеялся, кажется, с тех пор, как в детстве подобрал выпавшего из гнезда птенца и водворил его на место под отчаянный писк пернатой мамаши. Да, давно это было. А что произошло дальше?

Дальше... Вскоре после того, как принял бор, женился, хозяйством обзавелся. Жил припеваючи, но не давал покоя зуд по ружью ни днем, ни ночью. Чувствовал себя хозяином всего. Хотелось брать все больше и больше от бора. Легко думалось ему и тогда, в Маральей шее. Да Евтушков оказался настырным, чуть под тюрьму не подвел. Твердо решил отплатить врагу. Долго недоумевал, как Евтушкову удалось тогда, в морозную ночь, даже не ушибиться...

Но теперь что-то забытое тревожно царапалось внутри. «Иди ты к такой матери!» — пугнул его Галов. «Сам иди! — неожиданно огрызнулся тот. — Небось, боишься признаться, как старика хотел бросить в горящем лесу. Вспомни-ка!»

Павел Иванович беспокойно заерзал задом по земле, сжал тяжелые кулаки: «Убью, зараза!» — «Где тебе, слабо! — подтрунивал внутренний голос. — Против себя не попрешь!»

ИСПОВЕДЬ БУРИ

Уже не гудело, а шипело и потрескивало в бору. Стал слышен гул моторов со стороны дороги, очевидно, подъезжали новые партии людей, чтобы с ходу вступить в борьбу с огнем.

Буря утихла так же внезапно, как поднялась.

...Будто злодеиха какая налетела, старательно раздула незатущенную сигарету до малюсенького, едва приметного живого язычка, перебросила его на сосновую подстилку, радуясь затее, швырнула «рыжененького» на подрост, заплясала вокруг, загикала, распростерлась над щекочущим мальцом, подымаясь выше и выше. Собралась было уже именины праздновать, да набежал невесть откуда взявшийся человек и давай обихаживать взлелеянное ею дитя по бокам да по загривку, да по мягкому месту. Совсем было сгубил мальца. Все же в один момент удалось родительнице выхватить из цепких рук злодея рыжее дитя, высоко подкинуть его на соседнюю сосну, и — дальше, дальше по зеленым верхушкам...

Обиды не простила, вернулась назад, закрутила вокруг старика такой огненный смерч, что самой жарко стало. Совсем было сполна воздала обидчику, да он улизнул на плешину вместе с тем, который сигаретой баловался да обронил ее наземь. Некогда буре, налетевшей на бор со стороны пустынных мест, счеты сводить с людьми, оставила их, умчалась вдогонку за великовозрастным сынком, чтобы надоумить его, повернуть от реки на новые пакостные дела.

Прискакала с «рыжим» назад, да и ушибла нос о черную межу. Вроде не замечала ее раньше, а тут, на тебе, взялась откуда-то. Разглядела поодаль обидчика, рванулась к нему, а старик того и ждал: накрутил седую косу ведьмы на руку, заголил ей зад да и поддал с перчиком. Насилу вырвалась от старого. Вступил сын за матушку, но и сам едва ноги унес. Заковыляли они по своим следам да и совсем в западню угодили; окружили их несметные полчища врагов — не вырвешься; все уже и уже кольцо, задыхаются злодеиха со злодеенком, тают на глазах.

И союзник теперь не поможет.

«Ау, где ты, сердешный? Вот он! Сидит среди сосновой поросли, нюни распустил, на мужика не похож. А ведь совсем недавно бравым был, понятливым, будто нечаянно дымящуюся сигарету обронил — знал, чем это кончится.

Жаль, не дали вовсю повеселиться, треклятые! Придется отступить на этот раз. Да и отступать-то рядышком совсем, уйду из этого бора (будь он проклят!) в свою пустошь.

А ведь, кажется, совсем недавно на ее месте сочная травка зеленела, высокие хлеба колосились. Не зеленеют теперь, не колосятся! Впрочем, если быть скромнее, то это не моих рук дело.

Твоих рук, человек! Ты возомнил себе, что можешь встать над лесами, землей, реками, над зверем в тайге, над рыбой в воде, над птицей в небе, над червем в земле. Ты отделил себя от них на погибель свою, саморучно порвал пуповину, соединяющую тебя с колыбелью всего живого. Без природы нет человека, но ты это понял слишком поздно. Посмотри, на что похожи некогда жирные складки земли. Ты их распахал, расчесал, да не единожды, а из года в год собирал с них щедрые дары, ничего не давая взамен. Исхудала земля, обнажила ребра, последнее выжала из материнских грудей в ненасытный рот твой.

Вот уж мне раздолье! В детстве не пришлось в песочек поиграть, так я теперь наверстываю. Как подброшу горы песочка ввысь, как закручу его ка-

руслю, расправлю темный платочек с плеч — солнышко не видать. День могу превратить в ночь, а кинул кто неосторожно спичку в лесу — и ночь превращу в день. Вот какая я умелица! Человек пособил ею стать!

Хватился он, ан поздно, милай! Глянь сверху на Танды — не узнать бывших крохотных Щёл, расположились они по всему району. Лишь против бора пока не в силах я совладать. Ну да какие наши годы, доберемся и до него. Не без твоей помощи, человек!

Да вот тебе и свежий факт: союзничек-то мой недокурил сигарету — я ее и подобрала мигом. Еще два-три таких мига, и ничего от бора не оставлю, а там, как дважды — два, раздвину границы Щёл — царства моего — до самого Танну-Ола».

Так размышляла наедине изгнанная людьми из соснового бора Буря, отлеживалась до поры до времени в центре пустынных Щёл, зализывая раны свои, мечтая о скором отмщении.

И если бы услышал ее голос Данилыч, которому опять стало невмоготу — подступил к самому горлу свалившийся ватный комок, — испил бы он до дна горькую чашу первого пенсионного дня. Не выдержало бы его сердце неизбывной подлости Галова.

ПОСЛЕДНИЙ ИТОГ

Затуманенным взором он видел, как ушел куда-то Галов, как пришел и смыл темную пелену с глаз холодной струйкой воды. Жадно хватал ее черными губами Данилыч, пил и не мог напиться. А потом удивился про себя, как скоро вернулся Павел Иванович с водой. Не догадывался, что время потеряло для него значение, остановилось в беге, и настоящее превратилось лишь в череду простых движений. Встал — лег. Ушел — пришел.

Сжалась гармошкой и оттого короткой стала его жизнь. Разделил он ее с сосновым бором. Не хотел этого сейчас, но и поделать ничего не мог, отчитывался перед бором о сделанном.

Самый большой выигрыш в борьбе с Галовым: сильно поколеблен «ширпотребный» интерес к сосновому бору. Ишь что выдумал, балагур! Под видом санитарных вырубок взялся и налево, и направо валить бронзовую сосну, прямостойкую и здоровую. Не все и в райцентре поняли, к чему эти «санвырубки» могли привести. Все же выиграли эту борьбу егерь и лесничий: отобрали сосновый бор у лесхоза. Вот Галов теперь и бесится!

А школьное лесничество? Вместе с балгазынским лесничим Власычевым ставил его на ноги Данилыч: тот по должности, а он по призванию. До сотни ребят прошло через его nauку, многие после школы в лесотехникумы подались, в сельскохозяйственные институты, на охотоведческие отделения. Эти уже не наступят ногой на горло природы и никому не позволят изгаляться над ней. Тезка меньшой как-то раз привел Данилыча к себе во двор, послушайте, говорит, нашего скворца. Позвал того по имени, а тот, пурх, на Семкино плечо. Спрашивает Семка: «Кто самый плохой человек на земле, скажи-ка нам, Доктор». А тот разом и откликнулся: «Ба-ла-гу-р-р!»

До слез смеялся Данилыч, ну и отмочил номер Сенька! Недавно письмо прислал аж из Кирова, скучаю, пишет, по нашему бору и по Доктору.

Доктор теперь каждую весну прилетает ко двору Данилыча, облюбовал скворечник. С Трезором часто воют. Слетит на землю, скок-скок бочком к чашке трезоровой, только выцелит крошку малую, пес с лаем бросается на него. Сядет Доктор на конек скворечника, из себя выходит: «Ба-ла-гу-р-р!»

...Лесную падь расчистили от валежника, засадили сосновой порослью. Шумит там теперь сосняк, радуется солнцу и людям, взрастившим его.

Сосновый питомник вырастили. Одной ребятне не управиться бы, побывал егерь у директора совхоза. Умная пожилая женщина вникла в просьбу егера, пообещала помочь. Сама потом не раз бывала на питомнике. Ребятишки так к ней и потянулись. Данилыч даже чуточку ревновал, но виду не показывал — лишь бы дело не страдало.

На следующее лето грызунов развелось! Недоумевали Данилыч с Власычевым, терялись в догадках: откуда их столько? Ребятня помогла раскрыть секрет. В одном из походов за сосновыми шишками к дальним песчаным увалам наткнулись пионеры на павших коршунов. Вспомнили, — в начале лета с самолета опрыскивали совхозные поля химикатами против каких-то грибковых заболеваний. Гербидами отравились грызуны, а через них — и коршуны. Мышам стало раздолье. Ребятишки силками ловили, самодельными капканами и хлопушками уничтожали врагов питомника. А все же вредили те здорово.

И когда вновь увидел Данилыч «кукурузника» в небе, а за ним длинный белесоватый шлейф, выбежал на середину поля, задрал руки кверху: «Стой, балагур, назад, тебе говорю!» И внимания не обращает на запашистый дождичек в ясную погоду. Летчик заметил человека, ахнул: «Уматывай скорее, остолоп, отравишься!» Да разве тот услышит? Стоит посреди кукурузного поля и кулаками грозит восьмёрка. Посадил летчик на крохотной площадке рядом с полем самолет, втиснул в него старика и — в воздух. А на летном поле возле райцентра уже «скорая» поджидает, Данилыч и опомниться не успел, как его обрядили в больничный халат. И вовремя: поплыла перед глазами палата, люди... Через три дня оклемался и с ходу — в исполком:

— Это что же балагуры с природой делают?

Выслушали внимательно, посмеялись над причудами егеря, посторожиться уже было собирались над своевольным, а в дверях — красные галстуки, прямо-таки заполыхало в кабинете председателя исполкома райсовета. Галдеж поднялся! Не враз успокоились мальчишки и девчонки. А успокоившись, выложили на стол председателя увядшие сосновые ростки. Аккуратно были срезаны понизу. «Не ножницами, зубы такие острые у полевок, весь питомник скоро таким макаром подрежут».

Серьезное дело получалось. Собрали накоротке заседание исполкома, внимательно выслушали бал-

газынских ходоков, прикинули: пользы от гербицидов не так уж много, а вреда, оказывается, выше головы.

...Нынешним летом закружились над полями и питомником пернатые друзья, попрятались мыши, смело выкинули в небо тонкие вершины сосенки, будущие разлапистые красавицы.

А речка Соинка? Повадились приезжие и местные водители машины обмывать в ее чистых струях, задыхаться стала быстроструйная в тесных берегах. Хариус исчез, а какие еще попадались на крючок, даже на жареху не шли, коты и те брезгливо отворачивались от пропахшей мазутом рыбы.

Появились пикеты школьников в тех местах, где трасса близко подходила к реке, против ребятишек и у нахала язык отсыпал. Вот вы, спрашивали они очередного водителя, небось, за свою жизнь насмотрелись на хариуса-красавца, а нам, что же, ни одного не хотите оставить, потравить всех собираетесь? Да и такую лекцию ему закатят, что тот за сотый километр отъедет от Соинки, а все головой качает: ну и сорванцы, насквозь проняли!

Очистилась Соинка от вредоносных стоков, заплескался в ней на рассвете быстрый хариус. Оживились мужики, потянулись с удочками к реке: «А и горазд Данилыч». Ему похвальбы не надо, лишь бы природа обрела мудрый покой и работу свою.

Организовал подкормку косуль в зимнее время. Нынешняя зима суровой выдалась, и если бы не аккуратно огороженные стожки сена в разных местах соснового бора, погибла бы бессловесная животина. Не погибла, но...

...Мечутся в страшном лесу косули. Падают замертво, сраженные огнем. Подбежала одна из бедняжек к человеку, ноги подгибаются, а глаза прекрасные затуманились, боль в них стоит и просьба немалая: спаси, человек, не меня — детеныша моего! Бьет та просьба, стучит в самую грудь, не может человек жизнью своей старой дорожить, коли молодая на глазах гибнет — шагнул вновь в огонь...

Хлещется, хлещется с рыжим. Не на жизнь, а на смерть. Отстоял молодь, из последних сил отстоял, и ушло куда-то вбок и выше будущее Данилыча. Осталось у него короткое прошлое, а еще короче — настоящее. Догадывается об этом вчерашний егерь. Одного жаль: не докончил он главный спор. И потому гонит от себя тяжкую усталость, проглатывает комок в горле.

— Скажи, Галов,— приподымается на локте.— Скажи мне, чей он, сосновый бор?

— Наши они, сосны-то. Наши.

— Ну уж дулю тебе под нос! Скажи мне, что ты сделал, чтобы они твоими стали, ты, лично? Тото! Не твои они вовсе, не присваивай. Посади сначала, вырасти хоть одну сосну, тогда и зови своей.

— А это что, по-твоему? — набычился мужик, рванул горсть сосновой травки.— Это что, по-твоему, хрен собачий? Растиет, дышит, живет, потому что я спас ее от огня. Я, понимаешь ты, старая кочерга, я спас! — и зарыдал Галов, содрогаясь в горьком плаче.

Евтушков никак не ожидал такой прыти от Павла Ивановича, подполз к нему, погладил за жесткий вихор на затылке.

— Што? — заорал Галов, заворочал дикими глазищами.— Жалеть? Меня жалеть, старая кочерга! Ненавижу! Этими вот руками задавил бы, как котенка, да не могу, нужен ты мне, амнистию на людях выдашь за все мои грехи перед бором и тобой лично. Да-да, не выкатывай зенки! Аль забыл Маралью шею, забыл обломки от саней в зимнюю ночь? Надеюсь, пожар-то сегодняшний ты не забыл? А ведь все я наследил. Боялся тебя, думаешь? Как бы не так! Вот где ты у меня стоишь, поперек горла, угодник сосновый! А то, что спихнул меня с охото-ведства, то, что бор у меня отнял, то, что на посмешище перед людьми выставил,— забыл, думаешь? Ликуешь теперь, небось, исправил-де, на путь истинный наставил браконьера, или, как ты говоришь, балагура? Дудки, Марья Ивановна! Да, балагур я и останусь им, балагуром. А ты сдохнешь правед-

ником сосновым! Ну беги, зови бор свой задрипаный на помошь, попроси у него микстуры от поноса, она тебе сейчас кстати. Что же он не летит к тебе, хваленый лес? Слабо ему! Нет ему никакого дела до тебя и жизни твоей, о себе лишь печется, как бы не сгореть дотла...

Все вспомнил, ничего не утаил вражина. Прозвездел лицом Данилыч, умел бы креститься — перекрестился: слава богу, завершен главный спор! И хоть бычится бугай, а проняло его, наконец-то, прорвало чирей на душе. И хоть не скоро еще до того дня, но придет он — сполна поймет Галов свою вину. Будет денно и нощно замаливать грехи тяжкие перед природой. Дай ему силушки управиться с такой работой. «Много... наследил... хищник».

Но жестоко ошибался Галов насчет соснового бора. Все видел, все слышал израненный лес. В одном был прав недруг: не мог он подойти и вдохнуть целительный кислород в уставшие легкие старого друга. Корни не пускали. Тянули исполины руки-ветви к егерю, молили: не уходи, Семен Данилыч! «Вспомни, разве не я тебя качал-лелеял под тихий шум крон моих? Вспомни, Семен Данилыч, очнись! Услышь, как потревоженно гукают косули, хрюкает первое семейство кабанов в Маральей шее, кричат кукушки — малые дети у твоего порога. А люди? Разве ты не чуешь?! Все село бежит сюда, к тебе на помощь, Семен Данилыч!»

И услышал егерь зов старого друга, открыл глаза, приподнялся. Увидел: на самом краю будущего соснового леса, далеко-далеко, почти у самого края земли, бежали чьи-то фигурки. «А хорошо-то как,— подумалось ему,— вся земля в зелени...»

Попятился Галов, споткнулся, упал, снова вскочил, дико заверещал, побежал прочь. От Данилыча. От людей. От бора.

— Я не поджигал!

— Я не убивал!

Выскочил на лесную дорогу и побежал по ней с криком:

— Не я-я-я-а-а-а!

Евгений ЛЕГАТ

У ИСТОКОВ ЕНИСЕЯ

Светлой памяти Сергея Полушина
СЕРЕНА посвящается

Моя жизнь оператора-документалиста теснее всего, пожалуй, связана с Сибирью, с Красноярским краем, с Енисеем... Так случилось, что еще совсем молодым человеком, отправившись в свою первую командировку, я оказался в Красноярске...

Была весна, лед на Енисее уже прошел, и река, вздувшись от половодья, стремительно несла свои воды... Откуда и куда, я знал тогда лишь по карте да из литературы.

Потом я видел штормы и опрокинутые суда в низовьях Енисея, ходил с караванами самоходок в глубинные районы Сибири по его притокам — Подкаменной и Нижней Тунгускам, был на Ангаре; снимал перекрытие реки в Дивногорске и лазал со спелеологами по ушедшим теперь на дно Красноярского моря пещерам; видел подъем судов через Большой Енисейский порог, был и на Осиновском, и на Казачинском; не раз спускался с плотогонами через Хутинские пороги...

Побывал я и у истоков этой великой реки, не мог не побывать.

Начинается Енисей из озера КараБалык, что затерялось среди хребтов Восточного Саяна, на юго-западных склонах этого горного массива.

Тувинцы, местные жители, называют этот район Одугеном. Чтобы снять оленеводческую ферму колхоза «Советская Тува», забрались в Одуген и мы, кинохроникиеры. Я говорю «забрались» потому, что более двух недель понадобилось нам, чтобы — верхом на лошадях — добраться сюда.

Четыре дня провели мы у оленеводов, и вот теперь, когда съемки закончены, аппаратура упакована, продовольственные запасы пополнены мукой, маслом и оленным сыром,— мы прощаемся с оленеводами.

Бригадир фермы Лузужик пожимает всем нам руки, а когда мы, наконец, трогаемся в путь, садится на оленя и едет с нами. На перевале он еще раз пожимает всем руки и, пригласив нас зимой в колхоз к себе в гости, поворачивает обратно на ферму, а мы отправляемся дальше. Никто из нас, кроме проводника Чигжита, никогда не был у истоков Енисея, у озера Кара-Балык, и поэтому ни дожди осенние, ни наступающие в горах холода не могут нас остановить: так велико желание увидеть колыбель могучего Енисея.

Без тропы, по заболоченному склону спускаемся мы в долину Кадыра, одного из первых притоков Енисея, вброд переправляемся через его бурные, холодные потоки, снова поднимаемся на крутой, высокий склон, пересекая лесной массив Кошкэ-Тайги... Чигжит, всматриваясь в чащу окружившего нас снова леса, что-то тихонько насвистывает и нетерпеливо погоняет лошадь. За ним, обычно разговорчивый и оживленный, безумолку распевающий тувинские и русские песни, молча едет ветеринар Эзирикпей. Он заменяет в нашей экспедиции переводчика Кысыгбая, который не смог поехать с нами к Кара-Балыку, так как его ждут какие-то неотложные дела в Тоора-Хеме, районном центре Тоджи. Рядом с Эзирикпеем — мой ассистент Виктор, он курит трубку за трубкой, посматривая на выюки с аппаратурой, которые то и дело стукаются о стволы деревьев, — такой плотной стеной окружает нас лес. И только Лена, учительница из Тоора-Хема, радостно возбуждена. До меня доносятся ее обращенные к Виктору слова:

— Если бы не вы, никогда я сюда не попала бы!.. Красота-то какая...

Итак, нас пятеро. Давно уже рассказаны все анекдоты, интересные и неинтересные истории, давно перепеты все песни, а перед нами все тот же, тронутый осенними красками, лес, все те же, в репьях, запутанные гривы лошадей да все так же хлюпает под копытами раскисшая от дождей земля, усыпанная хвоей и побуревшими листьями берез... Осень. Тишина в тайге такая, что слышно, как па-

дают с кедров полные спелых орехов тяжелые шишки. Карманы набиты ими до отказа, руки и губы вымазаны пахучей смолой, а во рту сладковатая, чуть вяжущая мякоть сочных, крупных орехов. Это таежное подспорье так насыщает нас, что на привалах мы ничего не готовим себе, а ограничиваемся одним чаем.

К концу дня, петляя среди завалов бурелома, мы выезжаем, наконец, к озеру Кара-Балык, что значит по-русски «Черная рыба».

Крутые горы, поросшие хвойным лесом, окружают озеро. Их вершины отчетливо рисуются на бледно-голубом осеннем небе и, отраженные в воде, кажутся повисшими над пропастью. За первой грядой гор видна вторая, мерцающая холодными ледниками вершин, а за ними — тяжелая, серая в сумерках шапка Сарыг-Арта. Высота его более трех тысяч метров над уровнем моря. На современных картах его называют Пиком Топографов. За ним, на северо-восток — Бурятия, на юго-восток — Монгольская Народная Республика...

Разбиваем палатку. Разводим костер. Устали с дороги, все молчаливы. Лишь изредка слышны отрывочные фразы:

- Где соль?.. Никак не найду...
- Чигжит, дай нож, нарезать сыра...
- Лошадей надо привязать — разбредутся, ищи тогда...

И вдруг, на какую-то долю секунды, забыв и усталость, и все невзгоды утомительного пути по горам Одугена, я жалею, что путешествие наше заканчивается. Мы у цели. Вот он — Енисей, который робко, неуверенно еще начинает свой долгий, трудный путь к Ледовитому океану... Начинаясь двумя мелкими, неширокими протоками, он беззвучно струится по мелкой гальке, кое-где устилающей его песчаное дно. Теряясь в зарослях высокой, густой травы, он напоминает мне о далекой подмосковной Клязьме, Истре или Воре...

Я смотрю на прозрачную воду, песчаные отмели берегов...

Слушаю вековую тишину у колыбели Енисея...
И мне снова и снова не верится, что это великая сибирская река, которую Чехов называл «неистовым богатырем»...

На следующий день, рано утром, лучи выглянувшего из-за гор солнца прорезали мглистую дымку над озером. Оно вспыхнуло вдруг, словно гигантский ковш расплавленного металла, из которого тонкой струйкой изливается Енисей. Мы торопимся отснять эту ослепительную по яркости картину. А когда солнце поднимается выше и вода принимает свой обычный зеленовато-голубой оттенок, снимаем еще несколько кадров...

..И вот снова собираемся в путь, уже обратный...
Чигжит предлагает снова подняться на открытые плато Одугена и тем избежать непроходимых завалов в долине Енисея.

Я уговариваю его пробираться тайгой, стараясь не удаляться от Енисея: мне очень хочется побывать на Даг-Ужарском водопаде. Я показываю ему карту, где четким пунктиром нанесена тропа от Кара-Балыка до районного центра Тоджи — Тоора-Хема. На все мои доводы в защиту составителей карты Чигжит упорно отвечает, что никакой тропы нет и что карта просто врет. А я, поверив карте, не верю ему. Махнув безнадежно рукой, проводник угрюмо влезает в седло и, не говоря больше ни слова, трогает лошадь...

Обходя болота в пойме реки, Чигжит ведет нас по склонам гор и, чем дальше мы продвигаемся, тем теснее обступает нас тайга, тем каменистее становится почва. Огромные расщелины среди камней, с вцепившимися в них корнями сосен и елей, обманчиво прикрытые пушистым мхом, то и дело попадаются у нас на пути. Лошади, выбирая дорогу, срывают копытами мох, скользят по камням, в кровь сбивая ноги об их острые углы. Чигжит останавливает лошадь и, показывая наверх, в горы, говорит всего два слова:

— Туда надо, — и снова трогает коня.

Трещат, ломаясь, сухие ветви; бьются подковы об острые камни; ноги тонут в глубоких мхах... Верхом ехать невозможно, и мы ведем лошадей в по-воду, отыскивая для них дорогу. И вдруг я вижу едва заметную тропку, извивающуюся по склону среди деревьев.

— Что это за тропа? — спрашиваю я Эзирикпэя, обрадованный находкой, но все же не решаясь спросить об этом Чигжита.

Эзирикпэй, мельком взглянув по направлению моей руки, с улыбкой отвечает:

— Э-э, дарга, это зверская тропа... — И в свою очередь, показывая на ствол дерева, спрашивает: — Видишь шерсть?.. Медведь проходил... Водопой...

В коре виднеется всего несколько волосков. Острые глаза тувинцев уже давно видят их, и Чигжит поворачивается ко мне:

— Дарга, надо верх. Одуген надо. Один чекпе, хайыракан здесь...

Признаюсь, я и сам уже вижу всю бесполезность моей затеи. Эта «зверская» тропа действительно может завести нас в дебри, где бродят лишь рыси — чекле да медведи — хайыраканы... Мы поворачиваем в сторону от Енисея, в Одуген.

Эта каменистая полуравнина в горах, лишенная почти всякой растительности, по которой три недели назад мы ехали к оленеводам, кажется нам теперь такой заманчивой, словно ждет нас там если не щоссейная, то во всяком случае какая-никакая, но все же — дорога.

Мы все с надеждой посматриваем наверх — скопее бы, — а подъем становится все круче, все отвеснее. Лошади с трудом тащат, напрягаясь из последних сил, сползающие на круп тяжелые выюки...

Пришлось остановиться.

— Убьем лошадей, — тихо говорит Эзирикпэй, снимая перекинутые через луку седла мешки с продовольствием. Чигжит также развязывает лошадь и привязывает ее к дереву, а сам, взвалив на спину чемодан с киноаппаратом, осторожно, придерживаясь за ветви, начинает подниматься в гору, переступая с выступа на выступ, с камня на камень.

Это — последний удар по моему упрямству. Даже не привязав лошади, которая понуро стоит рядом со мной, я, также нагрузившись аппаратурой, лезу за Чигжитом... За мной, молча, тоже с какими-то ящиками, лезет Виктор. А Лена пытается вывести лошадь, тянет ее что есть мочи за узду, но та, ошалело сверкая белками глаз, не трогается с места...

— Потом, Лена, — говорит Эзирикпей, — иди сама...

И вот мы наверху. Холодный, ясный вечер. В небе загораются звезды. Из-за горизонта выглядывает луна, призрачным светом заливая равнину... Внизу, где-то там во тьме глухой, заваленной буреломом и глыбами базальтов расщелины, откуда мы еле выбрались, шумит Енисей... Здесь горит костер. От него пышет жаром, яркие искры поднимаются к небу. Как будто и не было этого злополучного дня. Лишь лошади понуро стоят, опустив головы, изредка пощипывая чахлую траву да иногда вздрагивая от усталости, словно прогоняя ее...

Еще два дня мы едем по каменистому Одугену, еще две ночи ночуем под открытым небом на разостланной палатке. Поставить ее не можем — нет кольев на опоры и растяжки. Так же, как нет и топлива на костер, и мы разводим жалкий огонь под котелком из сырых прутьев низкорослого тальника и сухого мха. Наконец, снова спустились в долину Енисея. Она стала более пологой. Лес, становясь все гуще, снова окружил нас, и я впервые вижу на лице Чигжита растерянность: он не был здесь восемнадцать лет. Влево, вправо, снова влево... Где-то здесь должен быть водопад. Неужели и сегодня не доберемся до него? И опять ночевать неизвестно где?.. Но опасения наши напрасны. Чигжит снова нашел забытую тропу. Почувствовав под ногами твердую почву, лошади ускорили шаг, и вот меж деревьями мелькнула полоска воды. Мы снова у Енисея.

— Люди на том берегу! — радостно кричит Эзирикпей. И не успеваем мы спуститься к реке, как от противоположного берега отчаливает лодка, и два

человека, отталкиваясь шестами, направляются к нам.

Встреча — всегда событие. Встреча в тайге — событие неожиданное, исключительное. Оно врезается в память на всю жизнь. Спросите об этом геологов, изыскателей, геоботаников, — всех, чья жизнь связана с тайгой, — они подтвердят вам это.

Я до сих пор помню нашу встречу на Даг-Ужарском водопаде Енисея, в Тодже, с гидрологом из Красноярска Иваном Верюгиным и помощником его — Толей Змушко. Помню, как будто было все это вчера, а ведь прошло больше четверти века.

Помню, как, зашуршав по песчаному дну, лодка их стремительно врезалась в берег, на котором стоим мы — Чигжит, Эзирикпей, Лена, Виктор и я. Помню крепкое пожатие мозолистых рук. Помню, как Толя, смотря на нас большими голубыми глазами, спросил:

— Братцы, а кто из вас богат куревом?.. — А Иван, теребя прокопченную на кострах бороду, вздохнул: — Эх, не мешало бы по такому случаю...

Да, случай исключительный... Так началась моя многолетняя дружба с Иваном Верюгиным. Ни встречи в Кызыле, за столом в светлом номере гостиницы, ни более поздние — в Красноярске или в Москве, то у него, то у меня дома, не могут изгладить из памяти моей того Ивана, с лоснящимся от дегтя, якобы предохраняющего от укусов мошкеры и комаров, лицом, заросшим густой, неопределенного цвета бородой; его потрапанную, прожженную у костров кепку, надвинутую на лоб, из-под которой с задором уверенного в себе человека весело смотрят серые, слегка прищуренные глаза охотника. Он всегда остается для меня тем бродягой-таежником из рассказов Короленко, каким встретили мы его на Енисее в Тодже, у Даг-Ужарского водопада...

Признаюсь, я с ревнивой завистью слушал тогда его рассказы о том, как они пешком, через тайгу, поднялись до Кара-Балыка левым берегом Енисея (мы шли правым, через Одуген), а затем, перегрузив оборудование и продовольствие из выюков на самодельный плотик, салик, как они называются в Тод-

же, и отпустив проводника с лошадьми обратно, отправились вниз по реке... То волоком перетаскивая салик через мелководья, то спускаясь на шестах по стремнине, они на всем протяжении реки проводили замеры глубин, скорость течения, отмечали и исследовали притоки, составили таким образом карту гидро-энергетических ресурсов верховья Енисея. Оказывается, от Кара-Балыка до Даг-Ужарского водопада не пятьдесят километров, как высчитал я по карте, уговаривая Чигжита ехать вдоль Енисея, а сто сорок-сто пятьдесят, так извилист у истоков Енисей; и никакой тропы вдоль реки, конечно, и быть не может, такие вековые таежные завалы нагромождены в его узкой долине.

Я долго не заглядывал в злополучную карту... И вот теперь, рассказывая о нашем путешествии, я снова достал ее, ту старую, потрепанную карту, и, глядя на крестик, перечеркнувший Енисей в том месте, где находится Даг-Ужарский водопад, я вижу горящий костер на берегу, вижу сидящих вокруг него Ивана Верюгина и Толю, Чигжита, Эзириклея и Виктора, слышу, как Лена уговаривает всех нас выпить еще чаю с оленым сыром — быштаком...

Вижу, как, вырвавшись из глухой, непролазной тайги, Енисей широко разливается между отступившими от него берегами. Пушистый, густой лес прячет коварство его скалистых берегов в яркой пестроте осенних деревьев... Неподвижной кажется зеркальная гладь реки, и только упавшие в воду обломанный ветром сук или причудливая коряга медленно проплывают по поверхности, безмятежно приближаясь к водопаду...

В точном смысле слова, это — не водопад. Это, скорее, трещина в скалах, перегородивших реку, точно плотина, сложенная из почерневших глыб гранита. Отвесные и гладкие, отполированные водой, они почти смыкаются с обеих берегов реки, образуя узкое — до двух метров шириною — ущелье, в которое, как в воронку, проваливается Енисей, увлекая за собой все, что попадается на его пути к водопаду, и, перемалывая о подводные камни, вышвыривает далеко от себя, ниже водопада — на

отлогий правый берег. Словно обструганными бревнами, завален он деревьями с обточенными корнями, без единого сучка... Над ущельем, как над кипящим котлом, клубится облако мельчайших водяных брызг.

Шум стоит такой, что не слышно, как работает камера. Все звуки тонут в грохоте разбивающейся воды, в гуле и клокоте вспененных валов, падающих с высоты восьми с лишним метров в белую пучину камефного ущелья.

Закончив съемки, мы вернулись в Тоора-Хем, а оттуда, на самолете, вылетели в Кызыл и дальше в Москву. На коробках с отснятой пленкой короткие, лаконичные надписи, а в монтажных листах описание снятых объектов: «Лесное озеро — Арга-Холь», «Болотные холмы — Тула-Тепши», «Пейзажи Одугена», «Оленеводы колхоза «Советская Тува» — Лузужик, Хурбэ, Эзирикпей», «Озеро Кара-Балык — истоки Енисея», «Проводник и охотник Чигжит», «Даг-Ужарский водопад и гидрологи», «Строительство в поселке Тоора-Хем», — всего снято 1.472 метра. Пленку списать с оператора Легата».

Эти записи хранятся у меня вместе со старой картой Тувы, которую я изредка рассматриваю, когда читаю в газетах или слушаю по радио о тех грандиозных делах, что свершаются сейчас на берегах великой сибирской реки — Енисея. В Туве его называют Улуг-Хемом. В Эвенкии — Ионесси. Что в переводе и с тувинского, и с эвенкийского на русский означает — Великая Река.

Стихи

Степан САРЫГ-ООЛ,

народный писатель Тувинской АССР

УТРО РОДИНЫ

Каждое утро заря расцветает,
ясной улыбкою миру сияет,
солнца лучи золотятся над нами —
силы народной пламя!

До горизонта, до самого края,
землю, как чашу, переполняя,
все нарастает, сильна и тверда,
музыка радостного труда.

Звуки сливаются мощно и стройно:
в реках — кипение вод беспокойных,
все разноцветье бескрайней страны —
все они песней труда рождены.

В небо заводов дымы прорастают,
вьется над пашнями пыль золотая,
празднична трав луговых пестрота,
радует взоры движение стад.

Люди, любуйтесь!
Как в слаженном хоре,
свету и радости утренней вторя,
травы и ветки лесов шевеля,
песню рассвету слагает земля!

Родина! Ты — бесконечное чудо,
ты — вдохновение гимнов и книг.

Знаю, начало берешь ты отсюда...
Запечатлеть бы рассветный твой миг!

Взял я перо — но слова улетают,
свежести утра не выразить мне.
Взяться за кисть бы — но мне не хватает
радостных красок, созвучных весне.

Радугу взять ли? Цветы луговые?
Краски земли — минералы цветные?
Или, быть может, слова мудрецов?
Неуловимо Отчизны лицо!

Знаю, страны моей светлое утро
Ленин провидел, уверенно, мудро.
Он сквозь тревоги борений и лет
путь указал нам в весенний расцвет!

ПОДРУГЕ

М. Д.

1.

Как степь, река и лес — как все вокруг,
привычны мне слова «подруга», «друг»,
«жена»... При том тувинское «кадай».
обыденно рифмуется с «подай»...

Но в мире нет роднее этих слов,
внимать им вечно стар и млад готов,
прошелестят чуть слышным шепотком —
не пролетят легчайшим ветерком
мимо ушей — тепла так много в них!..
Как будто бьет нестынувший родник
из недр земли истоком жизни...
Мать,
жена,
невеста — как еще назвать?

Но, как ни гнаться, не поспеть словам
за быстрой мыслью...
Я сегодня вам
хотел бы душу высказать вполне,
поговорив о собственной жене.

В любви мы с нею с детства че клялись,
без долгих испытаний обошлились:
два сердца среди множества нашлись,
единой скорбью связаны, слились.

Не доказать, не дописать портрет —
в нем женственность, веселость, ласка...
Нет!

Не в этом суть, а главным стали тут
взаимное согласье, жизнь и труд!

В молчанье степи, в шуме городском,
тревожной ночью или ясным днем,
беспечны или тяжкий груз несем —
единомышленники мы. Во всем.

За годом год в содружестве идет,
роднит все крепче нас за годом год,
проникли мы друг в друга, наконец,
до самой глуби мыслей и сердец,
и — говорю вам правду — мы с женой
как пуповиной связаны одной!

2.

Не кичусь, как мужчина, довольством своим:
вот, мол, как я ценим, как безмерно любим!
Как сказать, чем измерить вниманье ко мне,
благодарность как высказать другу-жене?

От носков до белейшего воротничка,
чуть где сядет пылинка, затронет рука,—
тотчас все непременно заметит она,
ароматною женой взметнется волна.

Торопливые смуглые руки твои —
близнецы они, сестры ли пенной струи?
Вон как весело нежные струйки поют,
каждый день наводя чистоту и уют!

Пахнет снегом, простором, светло и свежо,
на веревках белье — словно первый снежок,
между белых берез не спеша прохожу —
чистотой твоей дружбы и сердца дышу!

Мы словами с тобою в любви не клялись —
сразу руки твои за работу взялись,
неустанность их мне помогает понять,
как же крепко и верно ты любишь меня.

3.

На кухне — посуды веселый звон;
а запах — куренье пред алтарем!
Друзей принимаем, гостей зовем,
и полною чашей слывет наш дом.

Не может угаснуть, остыть очаг,
не слыхано, чтоб разговор иссяк —
всегда полноводна, знаю, река,
чиста, благородна и глубока!

Не так-то и много порой еды —
но вкус придадут ей твои труды,
доволен хозяин, доволен гость...
Мне дня не прожить бы с тобою врозь!

Взгляните, как весел сытый щенок!
Катается он у хозяйских ног,
виляет хвостом, как будто твердит:
«Спасибо, хозяйка! Я сыт, я сыт!»

Вот так благодарность поет во мне,
вот так я — щенком — ласкаюсь к жене,
в глаза ей гляжу, примостясь у ног,—
счастливый, чуть сонный седой щенок.

4.

В буддийских храмах в те, былые, дни,
пред алтарями в честь живых богинь
просил горячим шепотом у них:
«Благослови, помилуй, даригй!»

Изваяна художником-творцом,
прекрасная и мудрая, она
прелестным нестареющим лицом
сияла, равнодушная полна.

Так горячо взывал я: помоги!.. —
часами от нее не отходил...
Но чем помочь могла мне дариги?
Платок бы постирала — хоть один?

Ее сиянье не прогнало туч
извечнои беспросветной темноты...
Тебе, мой друг, живой мой ясный луч,
я не молился никогда — но ты!..

Не ласкою любовною одной —
обязан большиим я перед женой.
Молить богинь теперь уже не тщусь —
я ей отвечу теплотою чувств.

КРАСОТА

От преклонного возраста, что ли,—
наделяет и старость подарками,—
все мне кажется: краше вы стали,
наши девушки, прежде неяркие.

Если гостя попотчевать нечем —
жадным может хозяин ославиться.
А всегда ли, скажите, замечена
в старой, тусклой одежде красавица?

Серебро на седле и уздечке
стать и силу коня украшают.
Чистота и опрятность в одежде
человека красу довершают.

Красота, говорят, — по наследству,
а богатство и счастье — от бога,
не ропщи, — поучали нас строго,
от судьбы никуда, мол, не деться...

А нарядов богатой невесты
вчетвером не поднять, уж известно:
не парчовый халат — так атласный,
шелком крытая шуба прекрасна,
шапка соболем оторочена,
а сапожки узорные, прочные,
невозможно на них надивиться!..
Разгляди-ка за этим девицу!..

Кольца с перстнями руки оттянут —
шевельнуть ей и пальцем не хочется.
Бусы в косах побрякивать станут,
серьги так и звенят колокольчиком!

Хороша ли она, посудите,
если золотом вся изувешана?..
Лучше в душу, в глаза загляните,
не наряд в них увидите — женщину!

Не судите по модной одежде
и теперь о красе человеческой:
кто не слеп, тот красотой внешней
не заменит ума и сердечности.

...За прогулку, единственный вечер,
ощущенье руки на плечах
не спешите друг другу навстречу,
оглянитесь: зажженный беспечно,
с первым ветром погаснет очаг.

КОГО ОБВИНЯТЬ?

Кого обвинять, если ценные зерна
пропали в засушилом чреве земли?
Тверди, как веками твердили покорно:
«Не сжалось небо»? О влаге моли?

Ну, нет! Рассуждаем теперь по-иному,
и цену труда, механизмов, зерна
с беспечного пахаря и агронома
взыскать, как ни жаль их, придется сполна.

Мне кажется горькой и трактора участь,
который поля перепортил окрест:
кряхтит он, укорами совести мучась,
и ночью, и днем его ржавчина ест.

Так как же того, кто водил этот трактор,
оставить в покое? Беда — не вина?
Неужто признать с пониманьем и тактом:
«Во всем виновата природа одна»?

Машину шофер напрямик, по ухабам
погнал, а из кузова — выплеск зерна...
Согласны ли вы с утешением слабым,
что дело в дороге, виновна она?

Итоги скучного прошедшего года
подводишь — и жалко забот и работ...
Но кто обвинит и осудит... погоду,
над тем от души посмеется народ.

*Кызыл-Эник КУДАЖИ,
заслуженный писатель Тувинской АССР*

МОЯ ТАЙГА

Родная сердцу, моя тайга,
тобою не могу налюбоваться.
Твои чащобы, твои лога —
мои неисчислимые богатства.

Как будто в юрте, где жизнь дана,
в тебе я бестревожно обитаю...
Но есть загадка в тебе одна,
закрыт сундук, в котором прячешь тайну.

Когда под кров твой ни воротись,—
все в нем не так, как прежде, все мне ново:
и крик звериный, и пенье птиц,
и ветра голос — словно бы иного.

Сучок твой хрустнет — знакомый хруст,
но тайна есть и в нем — умейте слушать:
сулит добычу? Опасность? Грусть?..
В тайгу идешь — нужны глаза и уши.

Но знаю: стоит тебе хоть раз,
из жалости, открыть мне тайны чащи —
и ты мне станешь скучна тотчас,
как дошпулуур разбитый, не звучащий.

Тайга, я знаю, как ты права,
и вовсе на тебя не обижаюсь:
тайн сокровенных не открывай,
пред любопытным взором обнажаясь.

Мой внуk, мой правнук — пора придет —
в глубины тайны вздумают прорваться —
но будь упряма, чтоб в свой черед
тобою не могли налюбоваться.

ДВЕ СУДЬБЫ

Наши две судьбы не сошлись в одну,
не сошлись в одну в белой юрте,
не слились в тепле да в уюте...
Бередить к чему старину?

Не кори меня ты, моя любовь,
что живем мы с тобою розно —
сожалеть нам об этом поздно,
раны зажили. Стихла боль.

Наши две судьбы навсегда при мне,
словно два горба у верблюда,
а избыть их верблюду — чудо:
как ни бегай, все на спине.

Об одном прошу: ты не смей забыть,
улыбнись, увидев верблюда;
на спине его вместе будут
два горба — две наши судьбы.

ГИМН ЖЕНЩИНЕ

Восславлю я женщину!
Женщины — гордый народ.
Стремительней Хемчика,
прямо по жизни идет,
ни голод, ни горе
ее одолеть не могли —
она созидала историю нашей Земли.

Восславлю я женщину!
Женщины так нежны:
легчайшие ситцы, шелка
украшать их должны.

Восславлю я женщину!
Женщина так тверда:
в огне расплываясь,
становится сталью руда.

Мужчины-охотники,
кто на медведя ходил,—
тот век не забудет
следа его лап на груди.

А женщина смело
вступает в тайгу без ружья:
хозяин ей путь уступает,—
не видно зверья.

Есть Девичьи скалы
на древней тувинской земле —
бросались с них девушки,
помнить векам повелев:
над вольной судьбой
только сердце одно — властелин!..
А что же мужчина не бросился?
Хоть бы один?

Нет, сказки — не сказки,
не красного ради словца:
сестра вместо брата
отправилась мстить за отца,
сестра Бора-Шээлей,
ты мертвому жизнь подаришь,
и вновь оживет он,
спасенный Бокту-Кириш!

Не в сказке, а в жизни
в сражение женщина шла,
не в сказке, а вправду
оружие в руки брала,
врагов побеждала...
Рассказывать сказки — зачем?
Вот, рядом — живая,
бессмертная Роза Бичен.

Восславлю я женщину!
Женщины — люди труда:

не только у люльки, у печки,
за прялкой всегда —
нет! Женщины строят прекрасные города,
и лечат, и учат,
и в степи выводят стада.

Они — делегатки,
их красным косынкам — почет!
Они — депутатки,
забот их никто не сочтет.
Они открывают невидимые лучи
и в Космосе песни поют
(про любимых мужчин...)

Да, славлю я женщину.
Красной косынке — почет.
...И мне, между прочим,
такая косынка идет,
к лицу мне косынка,
красиво, подходит вполне...
Ох, женщиной, братцы,
родиться бы надобно мне!..

Тогда бы мужчины мне кланялись,
встречи искали,
как взора богини,
сидящей у Чая-Холя, в скалах;
тогда бы мужчины
мне издали улыбались,
как утренней зорьке,
моей красоте удивлялись.

Эх, быть бы мне женщиной!
Счастье завидное — что ты!..
Встречал бы меня муженек
по дороге с работы:
«Спокойно иди, дорогая,
спешить нам не надо:
детей я одел и привел их из детского сада...»

Домой прихожу я
под ручку с заботливым мужем —

давно все готово, все прибрано,
ждет меня ужин;
в домашнем халате блаженно
лежу на диване,
футбол и хоккей созерцаю
на телеэкране.

Придет воскресенье —
одену я дочек на радость,
как дятлы лесные,
пестры и красивы наряды;
сыночки за мною послушно идут,
как цыплятки...
Любуются люди:
«Вот выводок куропатки!..»

Нет, если придется мне снова
на свет народиться,
бурхана просил бы
создать меня красной девицей:
носить чтобы длинные косы
и яркие платья,
шитью, вышиванью учиться —
всем женским занятиям!

Где женщина —
весело, радостно людям живется.
Где женщина трудится —
свет и тепло остается.
И если ты женщину славить не видишь причины —
зачем же тогда
ты на свет народился мужчиной?

Восславлю я мать —
ты, отец мой, не обижайся.
Жену свою славлю —
ты, сердце, не сокрушайся.
Восславлю своих дочерей —
не поссорюсь с зятьями.
Невесток восславлю,
не споря о том с сыновьями.

Всем женщинам мира,
прекрасным таким и сердечным,
мое вославление,
гимн благодарности вечной.
Вы, братья-мужчины,
пока наберитесь терпенья:
созреет строка —
я восславлю и вас, без сомненья.

ДАЖЕ СЕРДЦЕ ДОВЕРЯЮ

Лидии Михайловне Козловой,
заслуженному врачу Тувинской АССР,
главному хирургу республики

Живу я с Минздравом рядом,
Когда проходите Вы,
всегда провожаю взглядом
Вас, главный хирург Тувы.

Я знаю, что путь Ваш труден,
что Ваша работа большая
жизнь удлиняет людям,
Вашу жизнь сокращая.

Но люди желают Вам счастья,
молодости, красоты,
и Вы остаетесь прекрасной:
где ступите — день не гаснет
и расцветают цветы.

Хочу, чтоб Вы знали об этом:
что общей любви отраженье
и в громком слове привета,
и в тихом — из уважения.

Когда на работе Козлова,
мы все уверены — очень:
здоровье и жизнь любого
в руках надежных и точных.

Я этих слов не искал бы,
они родились не вдруг:

сам помню холодный скальпель
и теплоту Ваших рук.

Жаль, в норме сердцебиенье
и не с чем к Вам приходить —
ходил бы к Вам каждый день я,
чтобы сердце открыть.

Не сплю всю ночь до утра я:
спасите, пока не поздно!
Я сердце Вам доверяю
даже и без наркоза.

Монгуш КЕНИН-ЛОПСАН

ТАЕЖНАЯ ЭПИТАФИЯ

Вечный случай, как черная сила,
отирает друзей, убивает покой...

Сколько дней нас тайга уводила
к этой встрече —
смерти с тобой.

Десять лет
со звериных троп
не сходил твой след.
Десять лет
отшумели ветрами,
отгорели кострами
в ночи.
Десять зим голубыми снегами
рассыпали созвездий лучи.

Одомашненный зверь,
ты увидеть не мог,
не сумел бы понять красоты.
Ведь охота — твой долг.

И людской пустоты
ты увидеть не мог.
Я
увидел теперь.

Нашей дружбы кольцо —
связки жизненных строп —
обкрутились на шее в тугой поводок.
Одоманиенный зверь
жизнь швырнул мне в лицо,
и виною потерь —
нашей дружбы кольцо...

Я увидел, мой друг,
по застывшим глазам
твой последний испуг —
не по волчьим клыкам.

* * *

Мой гнедой степь обвил.
Путь покоя лишен.
Вешним ливнем омыт,
летним ветром прожжен.
Только жизнь не права:
как седая трава,
под ударом тяжелых копыт
разбиваются годы в белую пыль,
навсегда оседая в висках.

Легким всплеском багровых зарниц
плетка воздух тугой рассекла.
Белым взмахом крыла
улетающих птиц,
дрожью осени бьется ковыль,
замирая в медных руках
пожелтевшей, засохшей земли.

Старость, жалом холодной змеи
извиваясь в мудрых словах,
оклаждает юности пыл.

Екатерина ТАНОВА
ПО ТРОПИНКЕ

Своей тропинкой, на своем коне
так радостно, как в детстве, ехать мне!
Все дальше, все вперед...

Тропинка вьется,
и звучно, звонко песня раздается —
я славлю свой народ и милый край...
Скачи, мой конь, мой резвый Боратай!

И конь летит, и время с ним несется,
из-за лесистых гор восходит солнце,
а вот и вся дорога на виду,
и знаю, скоро я по ней пойду...
Скачи, мой конь, мой резвый,
быстроногий...

Что за напасть? Вон, поперек дороги,
на полпути — замшелое бревно:
должно быть, бурей свалено давно
там дерево...
Его не перескочишь.
Объехать?
Будет путь наш долог очень.
Рывком поводья натянула — стой! —
но рвется все вперед скакун лихой.

Постой, мой конь: мне жалко резвых
ног...
Еще совсем ты молод, стригунок:
ты можешь ждать. А старое бревно?
Сгниет, с землей смешается он!
Взойдет заря из-за лесистых гор,
и выведет дорога на простор,
и, широки, откроются пути...

Свершение желаний — впереди.

Анатолий ЕМЕЛЬЯНОВ

ПЕСНЯ ЗВУЧИТ

Памяти Сергея Пюробю

Опять пустынной улицей пройду,
и снова песня прозвучит вдали:
«...Подарок лучший в сердце я найду,
отдам тебе всю красоту земли».

Печаль разлуки в песне той слышна,
но гордость счастья тоже в ней живет...
А я ее услышу — мне она
тоской по другу сердце разорвет...

Но эта боль мне одному дана:
при жизни взял он жизни высоту —
вобрал в себя земную красоту
и людям возвратил ее сполна.

Высокие и чистые слова
идут от сердца к сердцу, как лучи...
Поэта нет, но песнь его жива.
Живет поэт, пока она звучит.

* * *

Снова степь раздольно, величаво
движется навстречу, не спеша.
Снова мне дано простое право
ею любоваться и дышать.
Снова красотой ее нейркой
взята в плен усталая душа,
и покоя жалкого не жалко —
жизнь опять, как в сказке, хороша.

...Далеко, сливаясь с облаками,
горы проплывают, словно годы.
Полон каждый шорох, каждый камень
мудрости несуетной природы.
И, любуясь этой гордой далью,
этой ширью щедрой, безмятежной,
сердце снова счастья ожидает
с силой и уверенностью прежней.

ЗДРАВСТВУЙ, СЕРЕНМАА!

Серенме Сайын-ооловне Кулар

Все тот же взмах энергичный
почти что детской руки.
Все то же строгое лицико.

Все так же шаги легки.
И взгляд все тот же — загадочный —
из-под опущенных век...

Здравствуй, мой очень порядочный,
мой очень родной человек!

Ты помнишь?
Ты помнишь, наверное,—
нам есть о чем вспомнить с тобой —
как мчали нас кони на ферму,
Рыжий и Вороной...
Быстрой коней проскакали
семнадцать стремительных лет,
но горы под облаками
все так же сверкают снегами,
и мы все в том же седле.

Ты — секретарь райкома,
и я на партийной работе,
и оба мы в прежней, знакомой,
привычной нашей заботе.
«Забота наша такая», —
как в песне любимой поется, —
«забота наша простая»
с нами не расстается:
чтобы как можно дольше
в этом седле проскакать,
чтобы как можно больше
людям сердца отдать.

Я счастлив,
что снова в объятьях
бескрайней степной красоты,
что солнце еще не в закате
и рядом со мною ты,
что Тес покоя не знает,
и кто-то в степи поет:
«Жила бы страна родная,
и нету других забот».

СТРИЖКА ОВЕЦ

Есть в Тодже местечко
с названием звенящим
и нежным.
Послушайте только,
как это звучит:
«Чалын-Шол»...
Здесь в травах густых,
изумрудно-зеленых,
безбрежных,
однажды с друзьями
прекрасный цветок
я нашел.

Сначала он вспыхнул вдали
огоньком чуть заметным,
но вот подъезжаем
поближе —
все ярче становится он.
Смотрите!
Да это же люди
так ярко одеты,
что издали кажется:
видишь таежный бутон.

Обычная
летняя стрижка овец,
а не праздник.
Машинок жужжанье
и ножниц
ритмический стрекот.
Работают люди, как надо, —
не видите разве?
Недаром они
рукава засучили по локоть.

Но все, как на празднике,
радостны и оживленны,
и шутка, и смех
раздаются вокруг, не смолкая...
И падают
шерсти упругие белые волны

на щедрую землю
родного тувинского края.
На добрую землю,
в которой они родились
из трав этих сочных,
из рук этих
смуглых и тонких,
из белых колечек,
которые нежно вились
на крохотном и беззащитном
комочке — ягненке.

Работать на стрижке не просто,
и даже у тех, кто привык,
рука от машинки немеет,
глаза застилаются потом,
спине достается...
А все же —
скажи мне, Шаныг,
чем радует людям сердца
вот такая работа?

Как девочка, тонкая,
маленькая Шаныг
в ответ улыбнулась
застенчиво
и показала глазами
на сына:
мальчике лет десять;
вручную он стриг,
серъезно,
как будто держал
самый главный экзамен.

...Здесь каждый немало
морозных ночей недоспал,
немало в жару прошагал
за отарой по травам,
чтоб белый комочек
горою высокою стал,
чтоб людям вернул их тепло,
согревал их на славу.

Поэтому шумно
и весело так
в Чалын-Шоле,
на труд, как на праздник,
сегодня пришли
все, кто смог.

Есть в Тодже местечко
с названием — Росное Поле,
растет на нем
дружбы, работы
и счастья цветок.

Виктор САГААН-ООЛ

БЕСПОКОЙНАЯ ЮНОСТЬ

Весенний ветер —
юности ветер —
мне нес прохладу
и надежду нес,
когда я тайгою
за хищным зверем
гнался с рассвета
до первых звезд.
Потом, постарше,
копал канавы,
и плугом правил,
и сеял зерно.
Трудом заработал
высокое право
на первые стройки
Тувы родной.
Я стал рабочим.
Седею с годами,
но юность, но молодость
в сердце моем
горит зарей,
как рассвет над горами...
Мне строить и строить
за домом дом.

ДРУГУ

Ты помнишь, друг мой,
как в зной и в стужу
мы город растили —
кирпич к кирпичу.
Росли кварталы,
и наши судьбы,
взрослея, мужали
плечом к плечу.

Иду сегодня
кварталами новыми.
Цветы с балконов
улыбаются мне,
а из подъезда, навстречу — свадьба...
Невеста — ну краше на свете нет!
И я улыбаюсь:
что зной, что стужа,
что пот ручьями,
что хиус в лицо,
если всей свадьбе
являюсь, по сути,
не больше, не меньше —
а крестным отцом!

Я счастлив, друг мой,
за нас, за обоих,
за две судьбы наши,
за тебя.
Я горд за всех, кто любит и строит —
а разве построишь хоть что-нибудь,
не любя?

Александр ДАРЖАЙ

КУЖУРЛУГ

Солончаки.
И кочки здесь
лежат в пыли, как козы, белы.
Устал и вял,
течет меж них,
бьет из земли ручей несмело.

Ни деревца.
Кругом пустырь
в морщинах весь, как лик старухи,
да юрты вон,
плывут вдали,
как пики гор, белы и сухи.

Я с детских лет
запомнил лес —
меня в ветвях качали кедры.
Я, словно рысь,
был ловок в них,
я весь пропах смолистым ветром.

Солончаки.
Защиты нет
от жарких стрел степного солнца.
Как рыбка я
на берегу,
что на песке горячем бьется.

Здесь жизни нет.
Лишь суслик вон,
да коршун кружит в поднебесье...
Так почему
здесь человек
про эту степь слагает песни?

«О, как богат
мой край родной!
Красивей нету Кужурлуга...»
Ни речки нет,
ни леса нет —
так чем же держит здесь округа?

И чабанам,
сынам степи,
смеясь, я подал мысль такую:
«Ну, что вам степь?
Пора съезжать
на нашу сторону лесную».

Но древний дед
сказал в ответ,
бородку грустно оправляя:
— Скажи, мой сын,
ты знал людей,
что матерей своих меняют?

* * *

Я здесь один. Чего стыжусь?
На землю теплую ложусь,
раскинув руки широко.
Щекою к камушку прижмусь,
от тока крови задохнусь,
припав к горе блаженно.

Я как любимец-стригунок,
нашедший материн сосок,
тяну парное молоко.
Или как лиственница та,
что теплым соком налита,
все пьет корнями влагу.

Ручей ли где-то слышен мне,
или пастушка в тишине —
как эта песенка легка!
Бежит, по камушкам скользя,
и сон смежает мне глаза
под звуки колыбельной.

Гора, гора, качай меня,
пригрей меня, как мать моя,
чтоб стало мне легко-легко.
Дай силы мне, моя гора,
чтоб не гоняли вдаль ветра,
как перекати-поле!

Владимир СЕРЕНООЛ

ОВАА

Перевалив через горный хребет,
посидим, покурим вдвоем.
Положим по камню на оваа —
и снова в путь далекий пойдем.

Долгий путь наш, далекий путь,
и ветер крылья вновь распростер.
И столько камней на нашей овaa,
сколько за нашей спиною гор.

И нам уже нету пути назад.
но оваа темнеет вдали,
когда обернешься и бросишь взгляд —
припомнишь, как мы с тобою шли.

Камень положить на оваа —
давний обычай прошедших лет.
И смысл его: чтобы каждый день
павек за собою оставил след.

ОТВЕТ СОВЫ

Спала на дереве сова,
а день был бел.
Под тем же деревом лентяй
вовсю храпел.

Кошмары бредились сове:
как лучник злой,
стреляло солнце ей в лицо
своей стрелой.

Лентяя солнце тоже жгло.
Ему во сне
казалось: он перед судом
горит в огне.

Завечерело, наконец.
Продрав едва
глаза запухшие, лентяй
глядит — сова!

И у соседки он спросил:
— Куда летишь?
— Тружусь я ночью. День ли, ночь —
ты все хранишь!..

КОНЬ

Конь у коновязи голову повесил,
средь коней горячих он стоит, невесел.
Слышит, как рубанок по доске гуляет...
Он глаза, как старец дряхлый, закрывает.

Помнит, как хозяин взял его ребенком —
рыжевато-красным хлипким жеребенком.
Вырос конь и отдал целиком всю душу,
всю свою, жеребью, — чабану Тулушу.

С лиственницей схожи, траурно-горбатой,
старики в линялых, выцветших халатах,
молодые люди — все идут к Тулушу,
а коня рыданья беспрестанно душат.

Плачет, как ребенок, слезы больше града,
ни овса, ни сена — ничего не надо:
дали ему корму — конь не прикоснулся,
а вздохнул глубоко, к гробу повернулся.

Словно ждет чего-то, молча просит словно:
мол, доверьте ношу, повезу я ровно,
бережно доставлю тело на кладбище...

А глаза сверкают, не глаза — глазища!

Плакал конь, а люди на него глядели,
подходить пытались, утешать хотели —
на дыбы вставал он, ржал, хрюпал, брыкался
и знакомым людям в руки не давался.

Лишь когда приехал сын-крепыш Тулуша,
присмирил коняга, навострил он уши
и заржал так хрипло, горя не скрывая,—
потянулся к парню, другом признавая.

Зоя НАМЗЫРАЙ АЛТАЙСКОМУ ДРУГУ

Б. Укачину

Народ Алтая
и народ Саян —
издревле
их обычай похожи.

Два брата будто бы,
плечом к плечу стоят
в Срединной Азии,
где меч не ведал ножен.

Здесь медленно
всегда текли века
над юртами
с узорчатым ширтеком,
и в праздник
разливалась арака...
Век неизменно
следовал за веком.

Все те же
ароматные цветы
на берегах высоких
Алдын-Куля,
стремнины рек
прозрачны и чисты,
и шмель жужжит,
как на излете пуля...

О Родине споем, Алтая сын!
Нежна та песнь,
как девичье объятье...
Лавины
низвергаются с вершин,
но и вершины
покоряют братья.

Не зря в соседстве
юрты чабанов:
зайди —
и станешь им
почетным гостем.
Улыбка скажет
больше разных слов,
когда в ней нет
ни зависти, ни злости.

И песни
над аалами летят.

И в этих песнях —
гордость и отвага:
с революции поет арат,
народы наши
выведенной из мрака!

Салчак МОЛДУРГА

БУУРА И ЭНГИН¹

Басня

Подходит раз к усталому Адану
с натертными от тяжестей горбами
свиrepый Буура и орет на ветерана:
— Эй! Маяться мне с вами — что с гробами!
Я вижу, что опасно доверять
теперь тебе ответственные ноши,
так чтоб бесславно пост не потерять,
уволься-ка ты лучше по-хорошему!

Адан вздохнул: «Не стоит прекословить.
Буура силен, в начальстве ходит ныне...»
И старина, седые сдвинув брови,
весь сгорбившись, свой прежний пост покинул.

И тут к пустому креслу подплыла
подружка Бууры — гладкая Энгин.
Она, трудов не зная и седла,
была красотка — впору для витрин.
И Буура подмигнул Энгин довольно:
— Садитесь, ялочка! Займите положение.
Ух, как мы заживем теперь привольно!
Ведь не в новинку Вам такое предложение?

Дрожа от хохота упругими горбами,
Энгин в ответ кокетливо поет:
— Работа эта не по мне, сказать меж нами,
а вот зарплата явно подойдет!

¹ Буура — верблюд-самец, Энгин — верблюдица, Адан — рабочий верблюд (прим. автора).

Буура кричит: — Акша¹ с избытком будет!
Я весь у Ваших прелестей в плену!
Неужто, наконец пробившись в люди,
с собою я не притащу жену!

Сказать мораль?..
Где Буура и Энгин пробоятся,
ни с чем Аданы остаются.

Яков КРОМ

КАМНИ

Стоят вершины.
Злы, упрямые, немы.
Нам с ними нелегко,
но необычно просто...

И вдруг однажды
покачнется небо
и поплынет
крахмальной синей простыней...

А там, внизу,
предаввшись серым дням,
вдруг кто-то скажет
и всплеснет руками:
зачем, мол, так?
Зачем вся жизнь — камням,
и даже смерть —
на сером, тусклом камне?

Горами тоже можно дорожить.
Что камень сер,
вы никому не верьте.
И лучше вечность
падать камнем вниз,
чем вечность жить
с камнями вместо сердца.

¹ Акша — деньги (прим. автора).

Юрий ВОТЯКОВ

ВОЗЛОЖИТЕ ЦВЕТЫ

Памяти погибших в снежной лавине в горах Монгун-Тайги 2 мая 1980 г. Якова Крома, Вячеслава Подольского, Клары Мельниченко, Виктора Отева, Александра Зубова, Бориса Маслика и еще трех туристов, имена которых нам неизвестны

Возложите к подножью цветы полевые.

Васильковое небо

пусть смотрит, не плача.

Пусть багульник цветет...

Ледники вековые
смерть коварную в высинах заоблачных прячут.
Девять жизней.

А сколько погибло здесь прежде?

Скорбь людская взросла
на тропе восхожденья.

Возложите цветы полевые к подножью.

Девять жизней погасло
в просторах Вселенной.

Девять сильных сердец
отстучали свои позывные
и затихли,

мечтой прикоснувшись к созвездьям.

Возложите в их память цветы полевые.

Имена их не канут в забвения бездну.

Возложите в их память цветы состраданья...
Сострадающий вдовам, цветку и дождинке,
матерям сострадаю
и этому маю...

Девять жизней истаяли,
словно снежинки.

Только жизнь человека —
не паданье снега.

Снег упал и растаял,
упал — и растаял.

Человек по земле не проходит бесследно.

Человек человеку
память сердца оставит.

Возложите к подножью цветы полевые.
Пусть багульник цветет на тропе восхождений.
И начнут восхожденье к вершинам другие.
У вершин и у звезд есть свое притяжение.
Мы сгораем во времени,
тонем в пространстве.
Но другие
встают на тропу восхожденья.
Так пребудет вовеки. Так было и раньше.
Возложите к подножью цветы полевые.

ОЗЕРО ДУС-ХОЛЬ

А ковыль по степи — белый.
Степь седая,
совсем седая.
Пели стрелы, воздух пронзая.
В степь вонзались хищные стрелы.
Сколько было их — завоевателей?
Степь-кормилица может сказать...
Коршун в небе белесом кружится.
Бродит степью седой кобылица.
Возле юрты рыдает мать.

На глазах у веков,
у людей
совершались в степи злодейства,
а из глаз,
как зерно из горстей,
слезы горькие женщины сеяли.
Прорастало зерно в степи.
Слезы в глуби, в пластах собирались.
Из земли, силу слез накопив,
целебные струи прорвались.
И прозрачной соленой влагой
наполнялась ложбинка в степи...
Если воин от раны падал —
той водою он рану кропил.
И сегодня недуг случится —
я в дусхольскую воду войду...

Бродит степью, зовет кобылица.
Степь седая. Седая от дум.

Эмма ЦАЛЛАГОВА

АВГУСТОВСКОЕ...

Зреют в облаке белом
тяжелые теплые ливни.
Неужели была я
когда-нибудь в жизни счастливей,
неужели сочнее
срывала я яблоки с веток,
неужели у нас
не впервые
свидание с летом?

Бремя щедрых плодов
спъняет и радует душу.
Августовские полдни
печаль потаенную сушат.
И живая вода
только в сердце моем остается
с ароматом травы,
с переливчатым отблеском солнца.

Мне казалось: не вынесу я
нелюбви твоей, милый.
Сколько раз надо мной
равнодушно заря
в небе стыла...
Рвались дни, поездами
громели — все мимо и мимо,
и бессонницей стало
твое окаянное имя.

И тоска расползлась,
не зная границ и предела,
а рассудок и руки
не помнили смысла и дела.
Но ведь это любовь! —
Это голос ее, ее милость.
Не она ли — пусть горькая —
высшей наградой мне мнилась?

Так прости мне, судьба,
сзлобленного сердца укоры.
Лето снова выводит,
склонившись над миром, узоры.
Ослепительны краски его.
Это время другое —
с ощущеньем добра,
с ожиданием в сердце покоя.

От себя не бегу
и от жизни я душу не прячу,
но, в былое взглянув,
понимаю его чуть иначе.
Под полуденным небом
призвивно мне птицы кричали.
Взмахом крыльев от сердца
они отсекли все печали.

* * *

С годами юности проститься
я не хочу.
Пусть ночь июльская, как птица,
слетит к плечу.
И быть таинственной научит,
и даст совет,
как сохранить звезды падучей
неверный свет.
Мне горький корень жизни сладок
день ото дня...

О время, в толщу своих складок
не спрячь меня.
Мне цепь из нежных светотеней
сковала грусть.
Мой ум у сердца во владенье
пока. И пусть.

Давно хожу я в ученицах
у доброты,
листаю медленно страницы
своей судьбы.

Ты, зрелость августа, замедли
свой скорый шаг.
Еще успею сочной медью
твоей дышать.
Дай этой юности продлиться
хоть до зари
и ночь последнюю, как птицу,
мне подари.

Евгений АНТУФЬЕВ

НА ПЛОТАХ

Ненадежен наш плот.
Золотится вода.
Вот бревно отстает
навсегда
от плата.

В золотой тишине,
посредине реки,
мысль о будущем дне
даст нам твердость руки.

Эх ты, жизнь на платах,
как же ты не проста!..
Но плата за страх —
ее красота.

ПОБЕГ

Чихая в чердачной пыли,
от глаза людского скрываясь,
свободу они обрели,
навек со свободой прощаюсь.

Побег из тюрьмы не игра —
заведомо битая карта...
И гаснет во тьме чердака
вчерашняя вспышка азарта.

Что может быть злобы подлей,
когда позарез неудача?..

Но, пять пролетев этажей,
тот мальчик
уже не заплачет...

Мосты сожжены за собой.
Погоней затравлены лица.
Бегут они — с волчьей судьбой —
за злобной свободой-волчицей.

СТЕНА

Неровности стены
почувствует спина.
Когда прижаты вы —
опора вам она.

Да здравствует стена!
Что не дает и шага
вам отступить туда,
где ложь хмельна, как брага.

ПРАВОФЛАНГОВОЕ

В мире слово есть — ЛЮБЛЮ.
Слава слову, слава!
Между слов стоит в строю
слово, как держава.

Среди
жизненных дорог
и житейской стыни
это слово — как глоток
на двоих
в пустыне.

Борис ПРУДНИКОВ

ЭКСПОНАТ

1.

Застыло время в центре древней Азии.
Из века в век —
кочевья, чабаны.

Древнее древнегреческой Аспазии
фигурки будд сюда завезены.
Средневековья ночи нескончаемость
никто, казалось, победить не мог.
Немой протест и громкое отчаянье
не одобряли духи, Будда, бог.

2.

Винтовка —
это только экспонат.
Она уже полвека не стреляла.
Чей подбородок холодил приклад
там, у истоков
самого Начала?
Чьи пальцы
ощущали сталь курка?
Кого на мушку брал ее владелец?
Известно лишь одно наверняка:
винтовка не стреляла
мимо цели!

3.

Охотник Тоджи и кочевник Хемчика
известно знал лишь подневольный труд.
Так повелось:

свободны птицы певчие,
и то пока их в клетку не запрут.
И вдруг освежающий ветер
пронесся над древней Тувой.
И все изменилось на свете:
громел Белоцарский бой.

4.

...О вещи,
принадлежности людей,
вы часто долговечнее хозяев.
Вновь утром открывается музей.
Проходят годы.
Вас они не старят.
А люди,
люди тех далеких лет,
горели и сгорали без остатка.

И первый в Урянхае сельсовет,
и первого геолога палатка
на фотоснимке...

Прошлое — не прах!
Разгромлен Бакич,
сломлены нойоны...
Стоит у экспоната детвора,
привыкшая не к юртам,
а к неону.

5.

И все ж музей —
не просто склад вещей.
И все же люди —
главное богатство.
Банаально? Да.
Но кровью тех людей
заплачено
за равенство
и братство!

РОДОСЛОВНАЯ

Предки мои
не вели
родословных —
некогда.
Землю пахали они.
Не собирали
портреты любовно —
в тяжком труде
проходили их дни.
В тяжком труде
и в сраженье
со степью
шли друг за другом
года и века.
Рюрики мерли.
Романовы крепли.

Предок мой
русскую
землю
пахал.
Знатностью рода
кичились бояре.
Пахарю местничать
времени нет.
Крепла Россия.
Но не государи —
был ей опорой
прапращиков хлеб.
Хлеб
и мужицкая грубая сила.
Хлеб
и уральских заводов гудки.
— Где те бояре? —
спросила Россия, —
над головами
взметнулись клинки.
Племя безродных,
 униженных,
темных
поднято Лениным
в битву за жизнь.
Если в сраженье
идут миллионы,
значит, ведет их
великая мысль.

Предки мои
не вели родословных.
Дни и недели,
за месяцем год
силой мой род
наливался огромной —
и превратился
в Советский народ.

Фестиваль молодой поэзии

Мария ХАДАХАНЭ

ВСЕМ — ТВОРЧЕСКОГО РОСТА И ПОБЕД!

Большими событиями в литературной жизни нашей республики знаменателен 1980 год. Обсуждение произведений тувинской прозы и поэзии на расширенном заседании секретариата Правления Союза писателей РСФСР в Москве. Съезд писателей республики. И наконец, в августе — Всесоюзный фестиваль молодых поэтов братских республик. Он проводился одиннадцатый раз, и большая честь принять у себя представителей молодой поэзии страны выпала в этом году на долю Тувы.

Огромное значение для роста творческой молодежи, для развития литературы вообще имеют такие встречи. Личное знакомство молодых литераторов перерастает в творческую дружбу, происхо-



дит духовное взаимообогащение. По Туве пролегли семь маршрутов поэтического вдохновения, труженики семи районов республики, городов Кызыла, Ак-Довурака, Нового Шагонара, рабочего поселка Хову-Аксы тепло встречали и наставников — мастеров стиха, и творческую поросль, которая, по утверждению секретаря Правления Союза писателей СССР Олега Николаевича Шестинского, лет через десять «станет ядром, костяком нашей советской литературы».

Крупные проблемы были поставлены в докладах Станислава Куняева «О некоторых тенденциях в творчестве молодых советских поэтов» и Виля Ганиева — «Теория и практика художественного перевода литератур народов СССР».

Докладчики говорили о гражданственности поэзии, о том, что молодые поэты должны глубже овладеть культурными, духовными ценностями русской и советской классики. Сегодня половина книг, издаваемых в СССР,— переводные, поэтому возрастает ответственность переводчика. Перевод подобен кровеносной системе литературы, это способ общения, при котором происходит процесс обогащения литератур. Бывают казусы, когда хорошего поэта переведут плохо и, наоборот, после удачного перевода на русский язык становится популярным поэт посредственный. Еще неясно порой, что собой представляет молодой поэт на родном языке, куда он повернет, а уже есть книга на русском языке. Здесь нужна высокая требовательность. Великий Горький в 1934 году мечтал: «Идеально было бы, если бы каждое произведение каждой народности, входящей в Союз, переводилось на языки всех народов Союза. В этом случае мы все быстрее научились бы понимать национально-культурные свойства и особенности друг друга». Эта мечта сбылась.

Интересны были обсуждения творчества молодых в семинарах, руководимых Ст. Куняевым, лауреатом премии комсомола Туркменской ССР А. Агабаевым, лауреатом Государственной премии

РСФСР Н. Дамдиновым, Вл. Костровым, Н. Злотниковым. Подробно рассмотрены были более сорока изданных и рукописных сборников стихов молодых поэтов. Достойными издания в центральных, республиканских и областных издательствах признаны произведения Вл. Денисова (Свердловск), Н. Пшеничного (Ровно, Украина), Х. Чарыева (Мары, Туркмения), О. Оралбаева (Казахстан), Н. Ниези (Таджикистан), А. Мамедова (Азербайджан), И. Якайтиса (Латвия), Б. Арабули (Грузия) и многих еще их поэтических сверстников и коллег. В фестивале участвовали и представители издательств, журналов: заведующий отделом поэзии журнала «Москва» А. Парпара; заведующий отделом по работе с молодыми авторами издательства «Молодая гвардия» И. Слепнев; зав. отделом поэзии журнала «Юность» Н. Злотников; старший редактор русской и советской поэзии издательства «Современник» Л. Вьюнник; заведующий редакцией советской поэзии издательства «Молодая гвардия» В. Кузнецов; зав. отделом поэзии журнала «Огонек» Е. Антошин; представитель журнала «Литературная учеба» Т. Жилкина. Было кому и оценить творчество молодых, и найти практические пути его популяризации.

Творчество молодых поэтов Тувы — А. Даржая, К. Черлиг-оола, А. Ховалыг, Л. Иргит, Ю. Вотякова, В. Колпакова также обсуждалось на семинарских занятиях.

Содержательно, интересно прошел фестиваль. Требовательный, острый разговор вели на семинарах как сами молодые поэты, так и их наставники. В центре внимания были серьезные глобальные проблемы, вечные темы литературы — Отечество, народ, труд, любовь, жизнь, природа. В обстановке творческого соперничества, заинтересованности, взаимопонимания, с большой пылкостью и энергией работали молодые поэты. Пожелаем им всем мужества, творческого роста и побед!

Предлагаем читателям «Улуг-Хема» подборку стихов участников одиннадцатого Всесоюзного фестиваля молодой поэзии. Большинство переводов на русский язык также выполнено молодыми.

Отеген ОРАЛБАЕВ

(Казахстан)

ПОКЛОН ЗЕМЛЕ ТУВЫ

Ала-Тоо и Саяны вершинами
подпирают высокое небо.
Два народа, два побратима,
два зерна на едином стебле.

Я иду по древнему краю
вдоль великого Енисея.
В сердце кровь, как волны, играет,
сердце музыку слов лелеет.

Чтобы в них отразилось небо,
голубая вода Мергена,
золотые колосья хлеба,
облаков ажурная пена.

Пусть в словах отзовется ветер,
свежий ветер с Саянских склонов...

Я пришел к Туве
на рассвете
от казахской земли
с поклоном.

Елена СТЕФАНОВИЧ

(Читала)

ЖИЗНЬ ПОЭТА

В Поэзии «приливы» и «отливы»,
как видно, обязательная вещь:
меня сегодня восторгает ливень,
а завтра вдруг
цветок японской сливки
мне станет подозителен, зловещ...

Так что же вдохновение питает —
стихия? Красота? Дыханье бед?
А может быть...

Да нет — стихи не тайна,
а братство поражений и побед!
Да, совокупность страшных поражений
и боевых блестательных побед
рождает упоительное жжение
в душе поэта —
вспыхивает свет!

Да будет жизнь поэта вечной битвой,
с рождения и до кончины — бой.

...Поэтов нет умерших.
Есть — убитые
друзьями и врагами,
и судьбой.

Азим СЮОН

(Узбекистан)

* * *

Ни обида меня не убьет, ни беда,
ни превратность судьбы роковая,
и ни рана на сердце отвергнутом — та,
что упорствует, не заживая.

Я люблю этот мир, от былинок — до
звезд,
форм и звуков обитель, и — цвета.
Жизнь люблю я.
И песен я жажду.
Убьет,
может статься, меня
жажды эта.

Василий ЧОНГОНОВ

(Калмыкия)

* * *

Со степи начинаюсь,
с ковыля начинаюсь.
Всей душою, всем сердцем
я с нею сливаюсь.

Со степи начинаюсь,
Перед ней я в ответе;
и не будет судьи
мне желанней на свете.
Со степи начинаюсь,
и она мне внущила:
сделай все, чтобы злобу
любовь победила.
Где б я ни был
и где бы ни встречал я рассветы,
эта мудрость кострами
чабанскими светит.

Со степи начинаюсь,
с ковыля начинаюсь,
тонкостанной былинкой
под ветром качаюсь...

Любовь СУХАРЕВСКАЯ

(Иркутск)

ТАЕЖНОЕ

Неоглядная, милая Родина,
я в тебе затерялась, как крик:
из тайги твоей, из непогодины
мне не вырваться — голос охрип.

Будет завтра не легче вчерашнего,
потому и привыкла душа,
словно дерево — листья, вынашивать
все, чем жизнь на земле хороша.

Труден путь, но иного не хочется,
хоть и ломит под ношей плечо.
Друг надежен, и порох не кончился,
дома помнят. Чего же еще?

Вальдемарас КУКУЛАС

(Литва)

ПОРА СТАНОВЛЕНИЯ

Баллада

Не оттолкнешь ли ты меня, Земля,
в любви к тебе признавшегося рано?
Любить и мучить, не желая зла,
тебе придется. Дай мне испытанье.
Мятежные — они мечту и боль
переплавляют в радость и надежду...
Ты можешь оттолкнуть, Земля, но прежде
мне испытать себя позволь.

И ты — Любовь — меня не оттолкнешь ли?
Не рано ли я обращаюсь к чувству?
Над золотым цветком гудят шмели
на сладострастной ноте
плотского искусства.
Ты можешь оттолкнуть меня, Любовь,
но дай почувствовать твоё дыханье,
и пусть оно мне принесет страданья,
я буду верен тайне наших слов.

А ты меня не оттолкнешь ли, Море?
Не рано ли
мне мужественным быть?
И белогривой силе урагана
назначено корабль мой утопить?
Но, тонущий, обвенчанный с землею,
познавший муки страха и любви,
я обрету себя над глубиною,
свою планету обрету,
свою судьбу
и высь.

Маркабай ААМАТОВ

(Киргизия)

НАДЕЖДА

Добро и зло,

как свет и тьма,
неразделимо шествуют по кругу,
назло стремленьям чувства и ума
в движении извечном друг за другом.

Как разделить их? Как разъять
две стороны одной медали?

Над первенцем склонившаяся мать,
какие сыну

ты даруешь дали?

В твоих глазах —

надежда и восторг.
Дай бог мне оправдать твои надежды!

Добро и зло.

Я их союз расторг.
Но что из них
явилось миру прежде?

Пустой обман и ухищренья лжи —
о, как в них люди преуспели!
Но разве можно в мире жить,
когда надежды нет
и цели?

Ходжаберды ЧАРЫЕВ

(Туркмения)

* * *

Говорят: «Не вернулся с фронта».
Говорят: «Пришел, но израненный»...
Сколько судебвойной затронуто,
сколько юных сердец расплавлено!

Стонь звонкой дутарной струны
в песне матери льются печалью.
Я родился после войны,
но отмечен ее печатью.

Тот смертельный металл снаряда,
разрубивший походный строй
тех, кто шел с отцом моим рядом,—
тридцать лет взрывает покой.

Тридцать лет. И одним снарядом...
Тридцать лет... Войны горизонт.
Тридцать лет мы с отцами рядом —
тридцать лет уходим на фронт.

Поколенье, войной сожженное,
и погибших солдат сыны,
поколенье, Победой рожденное,
поколенья, еще не рожденные,—
все мы воины той войны.

Валерий ЕЛЬТИПИФОРОВ

(В о л о г д а)

В ГРОЗУ

С полей неслись раскаты грома.
Проселком кони мчались вскачь.
В окошках низенького дома
метался крик и детский плач.

А гром гремел все ближе, ближе
и твердь земную потрясал!
И бился плач уже под крышей
и там бессильно зависал.

Вот-вот сюда доскачут кони,
вот-вот!.. Но тщетна ворожба:
не ускакать им от погони
ветров, громов, плетей дождя.

Лоснятся спины. Морды — в мыле.
В кровавой пене — удила.
А дождь окошки в доме вымыл
и прочь умчался от села.

Уж не слышны раскаты грома,
давно затих и детский плач,
а я все помню, ясно помню
тот страшный лошадиный скак.

Доржи ЮБУХАЕВ

(Б у р я т и я)

* * *

Водят ёхор березы весенние,
так нарядны и так стройны,
словно девушки в воскресенье
беззаботным весельем полны.

И на них смотрят кедры ласково,
и любуются танцем подруг,
словно парни, что доброй пляскою
растревожат девичий круг.

Зоя АМЫР-ДОНГАК

(Т у в а)

СМОЖЕШЬ ЛИ?

Словно по тонкому льду я бегу от собаки,
той, что сидит на цепи, но готова меня разорвать.
Словно мерцанье надежды, любви твоей знаки
я берегу. И измене твоей не дам растоптать.

А если сорвётся с цепи, оскалив клыкастую пасть?
Если ранит меня — так, что все во мне будет болеть?
Сможешь, милый, прийти мне на выручку?
Не позволишь пропасть?
Есть еще огонь в твоем сердце,
чтобы меня согреть?

Если треснет, провалится подо мной
этот тонкий весенний лед,
если я захлебнусь горькой черной водой
и пойду ко дну —
кто меня из стремнины речной спасет?
Сможешь, милый, мне сильную руку свою
протянуть?

Нурмухаммад НИЕЗИ

(Таджикистан)

ЦВЕТУЩИЙ КАМЕНЬ

В камне из сердца
ростками взошли семена.
Камень зацвел,
не созданный для цветенья.
Это весна наложила свои письмена
или судьба наградила
за долготерпенье?

Бурей большой занесен издалека сюда,
сорван со скал
молний железным оскалом,
вот он — огромный и сильный...
И тихо вода
льнет к нему,
и ветра его тихо ласкают...

К этому камню в печали
(не ведаешь ты!)
я приходил помолчать
и душой отогреться.
Камень зацвел!..
А вокруг ожидают цветы,
словно осколки
тобою разбитого сердца...

Я соберу их
и алым огнем растоплю
в каменном сердце твоем
и волненье, и нежность.
Славлю весны волшебства,
и дивлюсь, и дивлюсь:
камень цветет!
Значит, есть еще место
надежде!..

Они остаются с нами

Нина ИГНАТЬЕВА,
художница

КАМЕНЬ ЖИВЕТ ВЕКА

Весенним солнечным днем, еще будучи студенткой, я зашла однажды в художественную мастерскую в Кызыле и вдруг увидела в углу, у окна, возле печки, человека. На вид он был ничем не примечателен: очень просто одет, и лет, наверное, за сорок. Сидел тихо и сосредоточенно что-то вырезал. Был настолько поглощен работой, что не сразу обратил внимание на постороннего человека, наблюдавшего за ним. Когда же он поднял глаза, в них



Байыр Байынды (крайний справа) среди друзей.

была какая-то отрешенная от всего мира мысль, двигавшая его работу. Взгляд был вдумчив и полон творческой страсти. Он недовольно на меня посмогрел и продолжал работу. Руки, крупные, с узловатыми пальцами и несколько корявые, были очень выразительны своей некрасивостью. И удивительно ловко и уютно лежал в этих пальцах камень. Правая рука с острым самодельным ножичком двигалась неторопливо и точно, оставляя на камне ровный и красивый след. Долго я не могла оторвать от него глаз. Работа его завораживала, размеренная и плавная, столько в ней было вдохновения, сказала бы я, аппетита, что невольно и мне захотелось вот так же, ножичком, порезать камень.

Я поинтересовалась у художников: кто этот человек? Мне сказали, что это Байыр Байынды и что он работает в мастерской истопником. Так состоялось мое первое знакомство с замечательным мастером, резчиком по камню. Тогда же он дал мне небольшой кусочек желтовато-красного камня и показал приемы тувинской национальной резьбы. Это было десять лет назад, я тогда заканчивала Уральское художественное училище.

Потом судьба, творческая работа не раз сводили меня с Байыром Сарыговичем. Помнится моя первая, в 1972 году, поездка в Бай-Тайгинский район, на гору Сарыг-Хая, за камнем. Многое нас тогда поехало: Л. Д. Протасов, Р. А. Аракчаа, Хертек Хуна, Байыр Байынды, московский художник Бут и я. Руководил группой и, конечно, тоже ездил с нами С. К. Ланзы. Впечатление о поездке осталось сильное и отчетливое, вспоминается она во всех подробностях. Помню, как внимательно и тщательно отбирали камень Хуна и Байынды, ножичком пробуя каждый отломок, как бы священное действуя над будущими произведениями. Я поняла, что чонар-даш для камнереза священен и требует к себе почтительного и бережного отношения. Были потом еще поездки, но эта, первая — познавательная, она как бы продолжила для меня пору ученичества у местных ваятелей прекрасного. Байынды в ту пору запомнился мне сосредоточен-

ным и деловым. Он очень мало говорил и всегда о чем-то думал.

Потом еще были творческие встречи, и всегда он был в обращении прост, здоровался уважительно за руку, и обязательно, бывало, поинтересуется, как у меня идут дела, что сделала нового и много ли у меня работ. О себе из скромности почти ничего не говорил.

Родом Байынды из Чая-Холя, земляк и ученик знаменитого камнереза Монгуша Холасаловича Черзи. Жизнь у него была трудная, даже тяжелая, но интересная. Начальное образование получил в красной юрте. Работал столяром, делал национальную мебель. Был и скорняком — шил красивую кожаную и меховую обувь. Во время Великой Отечественной войны принимал участие в оформлении одного из Красных обозов, везших на фронт подарки тувинских аратов.

Удивительно скромный и трудолюбивый, достойный и любящий отец, он после ранней, в 1967 году, смерти жены один вырастил семерых детей, всем дал образование. Многие из них пошли по стопам отца, стали камнерезами, переняли у него мастерство, терпение и выдержку. Известен в республике и за ее пределами Эрес Байынды, камнерез и график-акварелист: он окончил художественное училище, член Союза художников СССР. Не отстает от него и сестра Лиза, тоже окончившая художественное отделение Кызылского училища искусств и обладающая большими способностями к резьбе по камню. Учеником Байынды, так же, как и своего старшего брата Хертека Хуна, считает себя и член Союза художников Хертек Монгун-оол. И много еще последователей, перенявших технику национальной резьбы у признанного мастера Байыра Сарыговича.

Творчество Байынды носит отпечаток его характера. Он любил все делать основательно, добродушно. Его произведения выполнены мастерски, линии форм певучие и мягкие. Композиции отличаются уверенностью декорировки и монументальной завершенностью. Позы скульптур очень устойчивы и

выразительны. Таковы его работы «Марал», «Косуленок», «Сарлык» и другие, хранящиеся в фондах республиканского краеведческого музея имени 60-ти богатырей. Автор передает в них свою любовь к природе. Каждое произведение — это гимн всему живому, ликующая песнь жизни! Его произведения хранятся почти во всех музеях страны, во многих частных коллекциях в Советском Союзе и за рубежом... Он участвовал во множестве выставок — республиканских, зональных, всесоюзных.

Таким и сохранит его образ память всех, кто его знал, любил, уважал: сердечным, простым, немногословным человеком, гражданином и художником своей Родины. Камень живет века. Имя художника, его мастерство, его душа — в его работах.

Максим МУНЗУК,

народный артист РСФСР

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Большой души человек... Наверное, многим из нас выпадало счастье встретить на жизненном пути людей, заслуживших высокое общественное признание, выраженное в этих словах. Для людей тувинского искусства таким был Иван Степанович Забродин, он щедро делился с нами не только знаниями, но и сердечным теплом.

Мы, тувинцы-артисты и зрители, по праву гордимся тем, что у истоков нашего театрального искусства стоял Забродин — режиссер, коммунист, заслуженный артист РСФСР и народный артист Тувинской АССР, награжденный орденом Трудового Красного Знамени и многими медалями, удостоенный признания народа. И его светлое имя останется в анналах истории искусства Тувы.

Режиссерскую работу в тувинском театре Иван Степанович начал постановками спектаклей «Макар Дубрава» Корнейчука и «Васса Железнова» Горького в русской труппе. Постановка гоголевского



И. С. Забродин (в центре) с молодыми артистами Тувинского театра.

«Ревизора» в его режиссуре 11 марта 1951 года стала настоящим праздником тувинской культуры и искусства. В актерах тувинской труппы Забродин как режиссер нашел своих единомышленников. Их сценическая непосредственность и правдивость стали залогом создания подлинно реалистических спектаклей, таких, как «Платон Кречет» Корнейчука, «Именем революции» Шатрова, «Между ливнями» Штейна, «Лес», «Светит, да не греет» А. Н. Островского, «Коварство и любовь» Шиллера, «Разлом» Лавренева, «Дали неоглядные» Вирты, «Свадьба в Малиновке» Александрова...

Но самая главная постановка, настоящая творческая победа Забродина — это «Человек с ружьем» Погодина. Образ самого гуманного и справедливого вождя XX века — Ленина был воплощен на тувин-

ской сцене. Об этом творческом подвиге будут писать и в будущем.

Режиссер Забродин и исполнитель роли Ленина заслуженный артист РСФСР и народный артист Тувинской АССР, лауреат Государственной премии Тувы Олег Дондукович Намдара понимали друг друга с полуслова. Совместная работа талантливых артистов и режиссера неизменно находила благодарный отклик в сердцах зрителей.

Постоянное самовоспитание, требовательность к себе и к другим, душевная щедрость стали стержнем всей творческой жизни Ивана Степановича. Появились новые его постановки — «Нашествие» Леонова, «Дон-Жуан» Алешина, «Сын полка» Катаева, «Память сердца» Корнейчука.

Забродин был не только замечательным режиссером, но и прекрасным актером. Зрители запомнили в его исполнении образы Платона Кречета в одноименном спектакле, Курочкина в «Свадьбе с приданым», майора Васина в «Русских людях» Симонова и начальника гестапо Мюллера в детективе «Секреты фирмы «Клеменс и сын», комиссара Позднышева в «Между ливнями» и кержака Гордея в «Чти отца своего»...

Ему довелось пройти сложный путь исканий. На этом пути были и ошибки, и неудачи, но были и такие взлеты, которые поднимали, двигали вперед все тувинское театральное искусство. Художник-гражданин Иван Забродин страстно и преданно служил великому искусству театра, всю жизнь стремясь совершенствовать свое творчество. Таким остается он в памяти наших сердец.

Күулар ЧЕРЛИГ-ООЛ

ЛЮБИМЕЦ НАРОДА

В 1949 году я еще не ходил в школу. Мы жили тогда в долине реки Хемчик. По нашим аалам однажды прошла молва: приехал Кок-оол, знаменитый артист!



Мои любознательные детские уши первым уловили слово «артист».

— Дедушка Ак-Сал, объясните, пожалуйста, что такое «артист»? — обратился я к уважаемому в нашем аале старику.

— Оо, это, сынок, человек, умеющий разговаривать с птицами, со зверем. Он и по-волчьи умеет выть, и по-вороньи каркать. И поет, и танцует прекрасно, и на то-неньких проводах — вон, как телефонные нитки,— ходит...

Так разъяснив мне значение слова, не совсем, очевидно, понятного ему самому, белобородый Ак-Сал уселся на своего гнедого и поскакал в Дон-Терек, куда приехали артисты.

Опустели наши аалы — все ушли смотреть «шии», представление. Нас, маленьких, уговаривали остаться: у вас, мол, все еще впереди, вы еще насмотритесь на тех артистов, лучше мы вам конфег привезем. На нас возлагались надежды и важное поручение: присматривать за скотом.

Но что может утолить детскую любознательность? Мы, босоногие мальчишки, — каюсь теперь — оставив отару без надзора, тоже кинулись смотреть Кок-оола. На цветистой поляне Дон-Терека людей собралось — тьма-тьмущая. Через головы взрослых не перепрыгнешь, так мы ничего и не увидели, только слушали бесконечные восклицания, взрывы рукоплесканий. И сами, как могли, представляли себе услышанное:

— Вот это «шаман»! Вот это Кок-оол! Он проглотил горящую золу, из его ноздрей идет пламя! Вот это чудо! Невероятно!..

Долго еще Кок-оол казался нам чем-то вроде фокусника-иллюзиониста. Да запомнилось ритмичное звучание бубна, которым он сопровождал, должно быть, сцену шаманского камлания из одной из своих пьес: «тон-тон, тон-тон, ти, ти-ти-ти...»

Потом, через много лет, я увидел самого Кок-оола. Я уже знал, что он — не фокусник, а драматический и комический артист, великолепный рассказчик, писатель. И убедился, что его актерская игра действительно обладала магической силой. Вот он выходит на сцену в роли Хорлукпана в «Осуществленной мечте» С. Тока. Жалкий старик плетется по сцене, дрожащими руками цепляясь за посох. Но в каждом его движении, жесте, мимике чувствуется коварство и жестокость классового врага.

Во время антрактов он всегда был окружен многочисленными слушателями. Кок-оол — это тувинский Ходжа Насреддин. Словно магнитом, он притягивал к себе людей. «Так говорил Кок-оол», — начинает теперь у нас в Туве почти каждый рассказчик свою небылицу или смехотворный анекдот. Да, он был необыкновенный жизнерадостный. Смешить каждого встречного — такова была у него привычка. И смех продлевал ему жизнь.

Потомок Великой шаманки, он стал — теперь уже можно открыто сказать это — великим артистом. Получив в Москве высшее театральное образование, весь свой талант, все знания отдал служению искусству во имя искоренения предрассудков, оставшихся его народу от прошлого.

Кок-оол — это сам тувинский театр. Через фольклор он проложил мостик к профессиональному театральному искусству. Наши актеры его помнят с почтением — как мудрого башкы, учителя. Как один из основоположников тувинского театра, драматургии, Кок-оол внес в молодое сценическое искусство республики подлинную народность.

Он был великий знаток тувинской этнографии, народной культуры, этики. Великолепные образцы его актерских импровизаций остались в памяти не одного поколения. Прекрасно зная старотувинские

народные напевы и создавая на их основе свои мелодии, он написал замечательные песни, впоследствии ставшие истинно народными. Это «Край родимый» на слова Степана Сарыг-оола и «Тувинская молодежная». И жизнь его сама была песней о народе.

Виктор Шогжапович Кок-оол был и останется любимцем всего тувинского народа.

*Марьям РАМАЗАНОВА,
заслуженная артистка Тувинской АССР*

КАК ПРЕЖДЕ, МОЛОДОЙ...

Стояла на редкость жестокая зима. Земля в Кызыле без снежного покрова потрескалась, по ночам город заливал густой молочно-белый туман. И в те последние декабрьские дни 1942 года в Тувинскую Народную Республику приехал русский советский поэт, военный корреспондент «Красной звезды» Степан Петрович Щипачев. Весть о его приезде разнеслась очень быстро, и людские ручьи потекли в здание нашего театрального училища — туда, где теперь расположен республиканский краеведческий музей.

Из-за кулис нашей учебной сцены вышел высокий, удивительно стройный человек в военной фор-



ме, привычно стал за трибуну. Изящным движением руки поправил прядку седых волос и начал читать стихи — о седине и молодости... Со слушателями, тувинцами и русскими, молодыми и пожилыми, был мгновенно установлен контакт, и легкое «оканье» читающего, и его манера выговаривать мягко «щ» вместо «ч» были восприняты как что-то родное. Искренние, глубоко человечные, лиричные, задумчивые и просветленно философские стихи повествовали о времени и о человеке, о войне и о мире... Мы видели в нем не просто человека, пусть поэта — в нем для нас отражались тогда вся Россия и ее сыновья, грудью заслонявшие березовые рощи, синие озера, голубые ленты рек и все, что только есть прекрасного в жизни... Таково воздействие настоящей поэзии.

Степан Петрович пробыл тогда в Туве месяц. Ездил по районам, встречался с аратами, русскими крестьянами, рабочими, школьниками. Смотрел наши ученические концерты и спектакли, слушал тувинские и русские песни, с молодыми поэтами республики обменивался литературными впечатлениями, и они переводили его стихи, а он помогал им найти переводчиков и путь к многогранному читателю Советской страны... А потом он Туве и ее народу подарил целую поэтическую тетрадь со многими стихами, в которых отразилась его русская душа и влюбленность в прекрасную Туву, в ее людей.

Тогда, вернувшись в Москву, он очень много сделал для становления молодой тувинской литературы, для помощи писателям Тувы. И продолжал опекать их, поддерживать с нашей республикой, с ее литературой и искусством связь до последних дней жизни. Подруга рассказывала мне о случайной встрече со Степаном Петровичем на улице подмосковного поселка в сентябре 1979 года, когда жить ему оставалось всего четыре месяца, — и меня поразило, что он и в восемьдесят лет был так жестроен, как в сорок, и так же внимательно выслушивал стихи, и расспрашивал о Туве. Его искренне радовали успехи тувинского искусства, он

был живейшим участником его показа в год 30-летия Советской Тувы.

Как жаль, что книжка стихов Щипачева на тувинском языке, переведенных его учениками — поэтами Тувы, книжка, которую он так ждал, вышла в свет уже после смерти автора!..

Но вот ее раскрывает читатель — тувинский юноша или девушка, или человек зрелых лет, и страницы книги встают перед глазами читателя сам Степан Петрович, «как прежде, молодой», как сказано им в давних стихах о седине...

Содержание

ВО ВСЕМ ЕГО ДЫХАНИЕ ЖИВОЕ

Леонид Чадамба. Вместе с аратом — Ленин. Перевод Б. Прудникова	3
Олег Сувакпит. Имя Ленина. Перевод С. Козловой	4
Юрий Кюнзегеш. Крепкие корни. Перевод С. Козловой	5
Зоя Намзырай. Как красное знамя. Перевод Б. Прудникова	6
Михаил Пахомов. Челерское богатство (очерк)	7

35-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Юрий Кюнзегеш. Судьба Победы. Перевод С. Козловой	23
Борис Дубровин. Командир эскадрона	24
Монгуш Кенин-Лопсан. Песнь о Марии Цукановой (поэма). Перевод И. Фонякова, врезка М. Мартыновой	26
Валентин Манаенков. Баллада о тувинских добровольцах	30
Светлана Козлова. Сила преодоления. Баллада о демобилизованном солдате. Баллада о комиссарской звезде	31
Александр Коробейников. Сибиряки под Москвой (воспоминания)	34
Екатерина Танова. Хатынь. Перевод Ю. Вотякова	39
Евгений Антуфьев. Старшина	41
Чыргал Серен-оол. Вечная слава. Перевод Б. Прудникова	41

ТУВИНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ — ПОЛВЕКА

Степан Сарыг-оол. Слово о буквах. Перевод С. Козловой	43
Леонид Чадамба. Чудо на Одугене. Перевод С. Козловой	46
Салчак Тамба. Учитель-первоклассник (воспоминания)	47
Монгуш Кенин-Лопсан. Баллада о человеке, оживлявшем каменные книги. Перевод С. Козловой	52
Сергей Баир. Урок в степи (рассказ-быль)	53

ПРОЗА

<i>Владимир Ермолаев.</i> Изгнание (маленькая повесть)	58
<i>Вячеслав Бузыкаев.</i> Маралья шея (повесть, журнальный вариант)	78
<i>Евгений Легат.</i> У истоков Енисея (очерк)	109

СТИХИ

<i>Степан Сарыг-оол.</i> Утро Родины. Подруга. Красота. Кого обвинять? Переводы С. Козловой	119
<i>Кызыл-Эник Кудажи.</i> Моя тайга. Две судьбы. Гимн женщине. Переводы С. Козловой. Даже сердце доверяю. Перевод А. Емельянова	124
<i>Монгуш Кенин-Лопсан.</i> Таежная эпитафия. «Мой гнедой, степь обвили...» Переводы К. Емельянова	130
<i>Екатерина Танова.</i> По тропинке. Перевод С. Козловой	131
<i>Анатолий Емельянов.</i> Песня звучит. «Снова степь раздольно, величаво...» Здравствуй, Серенмаа! Стрижка овец	132
<i>Виктор Сагаан-оол.</i> Беспокойная юность. Другу. Переводы Ю. Вотякова	137
<i>Александр Даржай.</i> Кужурлуг. «Я здесь один...» Переводы А Смольникова	138
<i>Владимир Серен-оол.</i> Оваа. Ответ Совы. Переводы А. Бергера. Конь. Перевод В. Колпакова	140
<i>Зоя Намзырай.</i> Алтайскому другу. Перевод Б. Прудникова	142
<i>Салчак Мэлдурга.</i> Буура и Энгин (басня). Перевод О. Щукица	144
<i>Яков Кром.</i> Камни	145
<i>Юрий Вотяков.</i> Возложите цветы. Озеро Дус-Холь	146
<i>Эмма Цаллагова.</i> Августовское... «С годами юности проститься...»	149
<i>Евгений Антуфьев.</i> На плотах. Побег. Стена. Правофланговое	150
<i>Борис Прудников.</i> Экспонат. Родословная	151

ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДОЙ ПОЭЗИИ

<i>Мария Хадаханэ.</i> Всем — творческого роста и побед!	155
<i>Отеген Оралбаев.</i> Поклон земле Тувы. Перевод Б. Прудникова	158
<i>Елена Стефанович.</i> Жизнь поэта	158
<i>Азим Суюн.</i> «Ни обида меня не убьет, ни беда...»	159

<i>Василий Чонгонов.</i> «Со стени начинаюсь...»	159
<i>Любовь Сухаревская.</i> Таежное	160
<i>Вальдемарас Кукулас.</i> Пора становления (баллада). Перевод Ю. Вотякова	161
<i>Маркабай Ааматов.</i> Надежда. Перевод Б. Прудникова	162
<i>Ходжаберды Чарыев.</i> «Говорят: «Не вернулся с фронта...» Перевод К. Емельянова	162
<i>Валерий Ельтиифоров.</i> В грозу	163
<i>Доржи Юбухаев.</i> «Водят ёхор березы весенние...» Перевод Вл. Липатова	164
<i>Зоя Амыр-Донгак.</i> Сможешь ли? Перевод Ю. Твича . .	164
<i>Нурмухаммад Ниези.</i> Цветущий камень. Перевод А. Тавирова	165

ОНИ ОСТАЮТСЯ С НАМИ

<i>Нина Игнатьева.</i> Камень живет века	166
<i>Максим Мунзук.</i> Память сердца	169
<i>Күүлар Черлиг-оол.</i> Любимец народа	171
<i>Марьям Рамазанова.</i> Как прежде, молодой	174

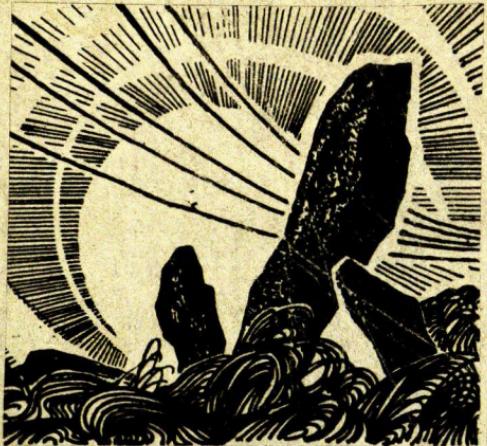
На 1, 2, 3 стр. обложки
илюстрации
Вл. Бутаева.

УЛУГ-ХЕМ № 18
Литературно-художественный альманах

Редакторы издания *Бородина А. Д., Тупицына Т. Е.* Художественный редактор *Кузнецов И. Я.* Технический редактор *Чернова Л. А.* Корректор *Сиднева Л. М.*

Сдано в набор 15.09.80. Подписано к печати 10.11.80. ТС 01816.
Формат 84×108 $\frac{1}{32}$. Бумага № 2. Печать высокая. Гарнитура
литературная. Печ. л. 5,63. Усл. печ. л. 9,45. Уч.-изд. л. 8,9.
Цена 65 коп. Тираж 2000 экз. Заказ 2601. Тувинское книжное
издательство, г. Кызыл, ул. Щетинкина и Кравченко, 57. Типо-
графия Управления по делам издательств, г. лиграфии и книж-
ной торговли Совета Министров Тувинской АССР, г. Кызыл,
ул. Щетинкина и Кравченко,

65коп



КЫЗЫЛ
ТУВИНСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

172
5
350